Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ



ЭКСМО

Жук в муравейнике

Аркадий и Борис Стругацкие

Аннотация

Аркадий и Борис Стругацкие. Жук в муравейнике

Аннотация

«Жук в муравейнике». История «космических подкидышей», когда-то заброшенных на Землю таинственной цивилизацией «чужих» — и, что называется, «по определению» считающихся потенциально опасными.

История одного из этих «подкидышей», внезапно вышедшего из-под контроля земных спецслужб — и начавшего задавать ненужные вопросы, — и следователя, занимающегося его поисками…

«Жук в муравейнике».

Шедевр братьев Стругацких!

Аркадий и Борис Стругацкие
Жук в муравейнике

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

(Стишок очень маленького мальчика.)

1 июня 78-го года

Сотрудник КОМКОНа-2 Максим Каммерер

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками, — это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем.

— Садись.

Я сел.

— Надо найти одного человека, — сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки. Фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселенц обожает абсолютную точность формулировок.

— Кого именно? — спросил я, чтобы вывести

его из филологического ступора.

— Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с Полярной станции Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное.

Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу Комиссию, да еще самого Экселенца, конечно же, никак не может. А между тем Экселенц был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно. Извини. Я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.

— Есть основания предполагать, — сказал Экселенц, — что Абалкин скрывается.

Лет пятнадцать назад я бы жадно спросил: «От кого?» Однако с тех пор прошло пятнадцать лет, и времена жадных вопросов давно миновали.

— Ты его найдешь и сообщишь мне, — продол-

жал Экселенц. — Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше.

Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ.

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры.

— Так, — сказал Экселенц. — Теперь следующее.

Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хонтийском: «заккурапия», что в точном переводе означает — «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось:

— Папка для бумаг!

— Не отвлекайся, — строго сказал Экселенц. — Слушай внимательно. Никто в Комиссии не

знает, что я интересуюсь этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной. Никаких исключений.

Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался. И, честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто «никаких». Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.

— Да, Экселенц, — сказал я смиренно.

— Далее, — продолжал он. — Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь. — Он постучал пальцем

по папке. — Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.

Я принял папку. С такой я тоже на Земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытиснено кармином: «ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН». А ниже почему-то — «07».

— Слушайте, Экселенц, — сказал я. — Почему в таком виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет, — холодно ответил он. — Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?

Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два.

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

Ни за что не успеть, подумал я.

— Могу я быть уверен, что он — на Земле?

— Можешь.

Я встал, чтобы уйти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными

зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал. И в то же время не хотел отпустить меня без того, чтобы не сказать хоть что-нибудь.

— Помнишь, — проговорил он, — на планете по имени Саракш некто Сикорски по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак…

Я помнил.

— Так вот, — сказал Экселенц. — Сикорски тогда не поспел. А мы с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин — не молокосос.

— Загадками изволите говорить, шеф? — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.

— Иди работай, — сказал он.

1 июня 78-го года

Кое-что о Льве Абалкине, Прогрессоре

Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их

Клавдию. Они даже заартачились было, но беспокойство мое не проходило, я рявкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво-встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу: где мне теперь держать это чудовищное «вместилище документов»?

Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. Семь сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселенца. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой.

Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых два десятка лет, и первым моим побуждением было засунуть всю эту груду в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага.

Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подсунутую под верхний зажим. Эту радиограм-

му Экселенц получил сегодня, за шестнадцать минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было:

01.06. — 13.01. СЛОН — СТРАННИКУ.

НА ВАШ ЗАПРОС О ТРИСТАНЕ ОТ 01.06. — 07.11 СООБЩАЮ: 31.05. — 19.34. ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ КОМАНДИРА БАЗЫ САРАКШ-2. ЦИТИРУЮ: ПРОВАЛ ГУРОНА (АБАЛКИН, ШИФРОВАЛЬЩИК ШТАБА ГРУППЫ ФЛОТОВ «Ц» ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ).
28.05.
ТРИСТАН (ЛОФФЕНФЕЛЬД, ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ) ВЫЛЕТЕЛ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДОСМОТРА ГУРОНА. СЕГОДНЯ 29.05. — 17.13. НА ЕГО БОТЕ ПРИБЫЛ НА БАЗУ ГУРОН. ПО ЕГО СЛОВАМ, ТРИСТАН ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРРАЗВЕДКОЙ ШТАБА «Ц». ПЫТАЯСЬ СПАСТИ ТЕЛО ТРИСТАНА И ДОСТАВИТЬ ЕГО НА БАЗУ, ГУРОН РАСКРЫЛ СЕБЯ. СПАСТИ ТЕЛО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ. ПРИ ПРОРЫВЕ ГУРОН ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ, НО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО

СПАЗМА. ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ 611. ЦИТАТА ОКОНЧЕНА.

СПРАВКА: 611 ПРИБЫЛ НА ЗЕМЛЮ 30.05. — 22.32. АБАЛКИН НА СВЯЗЬ С КОМКОНОМ
НЕ ВЫХОДИЛ, НА ЗЕМЛЕ К МОМЕНТУ СЕГОДНЯ 12.53 НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. НА ОСТАНОВКАХ ПО МАРШРУТУ 611 (ПАНДОРА, КУРОРТ) НА ТОТ ЖЕ МОМЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТАКЖЕ.

СЛОН.

Прогрессоры. Так. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю Прогрессоров, хотя сам был, по-видимому, одним из первых Прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к Прогрессорам я не оригинален. Это не удивительно: подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь сам был таким, пока не попал на

Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей…

И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования — надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был… И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться.

По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом — с несколько брезгливой

настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть — и нам, и им. Потому что либо Прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела… Впрочем, к счастью, нам в КОМКОНе-2 достаточно редко приходится иметь дело с Прогрессорами.

Я прочитал радиограмму и внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселенц интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того, чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся поднять из постели нашего Слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами…

Еще одна странность: можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка была у него уже под рукой…

И самое странное: конечно, Абалкин — последний человек, который видел хотя бы труп Тристана, но если Экселенцу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем Страннике и некоем молокососе?

О, разумеется, у меня были версии. Двадцать версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая: Гурон-Абалкин перевербован имперской разведкой, он убивает Тристана-Лоффенфельда и скрывается на Земле, имея целью внедрить себя во Всемирный совет…

Я еще раз перечитал радиограмму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист № 1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 38-го года. Воспитание: школа-интернат 241, Сыктывкар. Учитель: Федосеев Сергей Павлович. Образование: школа Прогрессоров № 3 (Европа). Наставник: Горн Эрнст-Юлий. Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа: февраль 58-го — сентябрь 58-го, дипломная практика, планета Саракш, опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке…

Тут я остановился. Вот так так! А ведь я же его, пожалуй, помню! Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания — Комов, Раулингсон, Марта… и этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселенц (в те времена — Странник) приказал мне бросить все дела и переправить их

через Голубую Змею в Крепость под видом экспедиции Департамента науки… Мосластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно! Они все звали его (кроме Комова, конечно) Левушкой-ревушкой, или просто Ревушкой, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому, что голос у него был зычный, взревывающий, как у тахорга… Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше.

Март 60-го — июль 62-го, планета Саракш, руководитель-исполнитель операции «Человек и голованы». Июль 62-го — июнь 63-го, планета Пандора, руководитель-исполнитель операции «Голован в Космосе». Июнь 63-го — сентябрь 63-го, планета Надежда, участие совместно с голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го — август 64-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го — ноябрь 66-го, планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения — младший бухгалтер службы охотничьего собаководства, псарь маршала Нагон-Гига, егермейстер герцога Алайского (см. лист № 66)…

Я посмотрел лист № 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выдранный и сохранивший складки от помятостей. На нем

размашистым почерком было написано: «Руди! Чтобы ты не беспокоился. Божьим попущением на Гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки — какой-то печатный текст арабской вязью.

Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу № 1.

Ноябрь 66-го — сентябрь 67-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67-го — декабрь 70-го, планета Саракш, внедрение в республику Хонти — унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой Островной Империи (первый этап операции «Штаб»). Декабрь 70-го, планета Саракш, Островная Империя — заключенный концентрационного лагеря (до марта 71-го без связи), переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в Береговой Охране, переводчик штаба отряда Береговой Охраны, переводчик-шифровальщик флагмана 2-го подводного флота группы «Ц», шифровальщик штаба группы флотов «Ц». Наблюдающий врач: с 38-го по 53-й — Леканова

Ядвига Михайловна; с 53-го по 60-й — Крэсеску Ромуальд; с 60-го — Лоффенфельд Курт.

Все. Больше на листе № 1 ничего не было. Впрочем, на обороте крупно, во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами (словно бы гуашью) что-то вроде стилизованной буквы «Ж».

Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе кое-что знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой Учитель. Я знаю, кто твой Наставник. Я знаю твоих наблюдающих врачей… А вот чего я не знаю, так это — зачем и кому нужен этот лист № 1? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустя… раз-и-два-и-три-и… четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем ему человеке.

Пожалуйста: Абалкин Лев и так далее, кодовый номер, генетический код, родился тогда-то, родители (кстати, почему в листе № 1 не указаны родители?): Абалкина Стелла Владимировна и Цюрупа Вячеслав Борисович, школа-интернат в Сыктывкаре, Учитель, школа Прогрессоров,

Наставник… Все совпадает. Так. Прогрессор, работает с 60-го: планета Саракш. Гм. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ… А это что? «Адрес на Земле: не зарегистрирован».

Я набрал новый запрос: «По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то?» Через две секунды последовал ответ: «Последний адрес Абалкина на Земле — школа Прогрессоров № 3 (Европа)». Тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние восемнадцать лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе подавать не желает. И то и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно…

Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится в листе № 1? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в КОМКОН-1, и там тебе все

это изложат. А чего не знают в КОМКОНе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди Прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на Алмазном Пляже у подножия величайших в обитаемом Космосе песчаных дюн…

Ладно, господь с ним, с этим листом № 1. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный… А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях?

Стоп. Это, скорее всего, меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в КОМКОНе? Это можно объяснить: психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере восемнадцать лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. Абалкин не похож на сопляка, точнее — не должен быть похож. Учитель? Или Наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Это я по себе знаю. Причем скорее Учитель, чем Наставник. Ведь Наставник в каком-то смысле все-таки коллега, а у нас — отвращение к делу… Стоп. Да стоп же!

Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло тридцать четыре минуты. Причем я ведь даже пока еще не изучал их, я только ознакомился с ними.

Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем неинтересно думать о том, КАК найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, ПОЧЕМУ его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенца, хотя простая логика подсказывала мне, что, если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, ПОЧЕМУ надо искать и найти Абалкина, значит, это ПОЧЕМУ не имеет никакого отношения к вопросу КАК.

И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал. А еще точнее — заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаги, вся эта пожелтевшая писанина ничего не дадут мне, кроме, может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки не имеющих никакого отношения к вопросу КАК.

1 июня 78-го года

Вкратце о содержании папки

К 14.23 я закончил опись содержимого.

Бóльшую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина.

Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир» на планете Надежда — семьдесят шесть страниц, исписанных отчетливым крупным почерком почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с голованом Щекном в поисках какого-то объекта (я не уловил, какого именно) пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов.

Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо уста-

новленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загадили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого мало-мальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до двенадцати лет он развивался в общем нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В шестнадцать лет он выглядел тридцатипятилетним, а в девятнадцать, как правило, умирал от старости.

Разумеется, такая цивилизация не имела ника-

кой исторической перспективы, но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. (Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними сталось — мы, конечно, не знаем и, похоже, узнаем не скоро.)

Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему в ней отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым (и пока единственным) Прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной негуманоидной расы.

Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле пребывает целая миссия голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал

возможности встречи его с давним приятелем. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к «меньшим братьям»: на голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем… и вообще.

И был в папке еще один отчет Абалкина — о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковая: егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником — некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то Зогги, Нагон-Гиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастеры, конференц-директора, гоф-дамы… Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он вряд ли мне понадобится. Всего во втором отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального Прогрессора в папку

07 попали только два, и именно эти два?..

Оба отчета были выполнены в манере «лаборант» и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты — одно удовольствие, читать их, как правило, — сущее мучение. Психологи (засевшие в штабах) требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях и фактах, сколько сугубо субъективные ощущения, личные впечатления и поток сознания автора. При этом манеру отчета («лаборант», «генерал», «артист») автор не выбирает — ему ее предписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии!

Я не психолог, во всяком случае, не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Абалкина.

Просматривая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы сказал, просто одинаковые и совершенно непонятные мне документы: синеватые листы плотной бумаги с зеленым обрезом и выдавленной в верхнем левом

углу монограммой, изображающей то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе уже знакомым мне размашистым почерком иногда стилом, иногда фломастером, а пару раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано: «Тристан 777». Ниже стояли дата и все та же замысловатая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года примерно раз в три месяца, так что папка на четверть состояла из них.

И еще двадцать две страницы занимала переписка Абалкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления.

В октябре 63-го года Абалкин направляет в КОМКОН-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в Космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу.

Неизвестно, какой ответ получил Абалкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в Космосе» и одновременно очень резкое письмо в КОМКОН, в котором протестует против направ-

ления его, Абалкина, на курсы переподготовки. (Заметим, что все это он почему-то делает в письменной форме, а не обычным порядком.)

Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Абалкин отправляется работать на Гиганду. Три года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в КОМКОН с Пандоры и просит направить его на Саракш для продолжения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти: его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти унионистом-подпольщиком.

С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го года он еще дважды пишет в КОМКОН (Бадеру, а потом и самому Горбовскому), указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным не назвал бы. Любопытно было бы мне узнать, что ответил душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования.

И уже будучи резидентом в Хонти, в октябре 67-го года Абалкин посылает Комову свое последнее письмо: развернутый план форсирования

контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле, и т. д. и т. п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление, что этот план сейчас принят и осуществляется. А если это так, то положение парадоксальное: план осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонти, то в Островной Империи.

В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну ладно, пусть в проблеме голованов я не специалист, мне трудно судить, вполне возможно, что план Абалкина совершенно тривиален, и употреблять такие громкие слова, как инициатор, не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом! Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. «Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика… Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология…» И тем не менее из парня делают Прогрессора. Не спорю, существует целый класс Прогрессоров, для которых зоопсихология — хлеб насущный. Например, те, кто работает с леонидянами или с теми же голованами. Так нет же, парню

приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он пять лет кричит на весь КОМКОН: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм!

Конечно, Прогрессор — это такая профессия, где железная, я бы сказал, военная дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то, что приказывает КОМКОН. На то он и Прогрессор. И, наверное, резидент Абалкин много ценнее для КОМКОНа, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым... И что бы там ни натворил этот Абалкин (а он явно что-то натворил), я, ей-богу, на его стороне.

Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет.

Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, двух страниц — после второго его отчета и двух страниц — после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.

1 июня 78-го года

Почти все о возможных связях Льва Абалкина

Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего восемнадцать имен. Практически для меня представляли интерес только шесть человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности (по моим представлениям, конечно) того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так:

Учитель Сергей Павлович Федосеев.

Мать Стелла Владимировна Абалкина.

Отец Вячеслав Борисович Цюрупа.

Наставник Эрнст-Юлий Горн.

Наблюдающий врач школы Прогрессоров Ромуальд Крэсеску.

Наблюдающий врач школы-интерната Ядвига Михайловна Леканова.

Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек пять, как правило — Прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы по-

тому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу.

В течение десяти минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения.

Родители Льва Абалкина не существовали — по крайней мере, в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в Черную Дыру ЕН 200056. Связи с ними не было, да и не могло быть, по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно: вполне можно было допустить, что родители его еще живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но, с точки зрения землянина, они, конечно, все равно что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в Институте Жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем.

Когда стало ясно, что погружение удалось, что они более не вернутся, клетку активировали, и вот на свет появился Лев Абалкин — посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе № 1 родители Абалкина не упоминались вовсе.

Эрнста-Юлия Горна, Наставника Абалкина по школе Прогрессоров, уже не было в живых. В 72-м году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова.

Врач Ромуальд Крэсеску пребывал на некоей планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но, поскольку Крэсеску является Прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан (сто шестнадцать лет!) оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием: «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство.

С остальными двумя мне повезло.

Сергей Павлович Федосеев, Учитель Абалкина,

жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предостерегающим названием «Комарики». Ему тоже уже было за сто, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные: окончил то-то и то-то, археолог, Учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони… Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович — автор более тридцати статей по археологии, участник восьми археологических экспедиций (Северо-Западная Азия) и трех евразийских конференций Учителей. Кроме того, он у себя в «Комариках» организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время.

А вот с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе этакую старушку — божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же

территории Сыктывкарской школы. Черта с два — семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того — она занималась последовательно: ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов, ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в шести различных организациях и институтах, а сейчас она работала в седьмом — в передвижном Институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось устанавливать с нею связь через стационар Института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри.

Было совершенно очевидно, что начинать следует с Учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро.

1 июня 78-го года

Учитель Льва Абалкина

Вопреки моим опасениям, усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов.

Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои сто с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная, как смоль, а левая — совершенно белая,

именно белая, а не седая.

Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии — зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами… Вы наверняка знаете, сказал я, что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в КОМКОНе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на Земле, а когда он вернется — совершенно неизвестно. Между тем мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе, — движение психологии исследователя, вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, Наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его Учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства…

Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом: «Позвольте, позвольте! Но ведь Лев был у меня буквально вчера!» Однако

меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца — изложить с самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то чтобы просто закладывается или там зарождается… Мало того, когда я наконец выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы.

Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим Учителем! Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим Учителем своими успехами.

Я с готовностью объяснил, что голованы — это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций.

— Киноиды? Собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда — голованы.

— Значит, Лева занимается собакообразными… Добился своего…

Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голо-

ванами занимался, и с большим успехом.

— Он всегда любил животных, — сказал Сергей Павлович. — Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу Прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались… Впрочем, там было все сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать…

Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких: «Лева! Как же! Это был такой замечательный мальчишка!» Конечно, вполне может быть, что Лева не был замечательным мальчишкой…

— Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил Сергей Павлович.

— Все! — ответил я быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе. Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. — Попробую.

Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуве-

ренности в себе. Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг — за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек, просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом, а удивляло в нем как раз другое: при всей своей явной замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре, особенно в театре. Но, правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой — уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с Учителем, но и с ребятами, и так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предполагать только, что его талант в общении с живой природой настолько возобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята — да и вообще все люди — были ему просто неинтересны. На самом деле,

конечно, все это было гораздо сложнее — эта его замкнутость, эта погруженность в собственный мир явились результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения Учителя. Учитель вспомнил такую сценку: после проливного дождя Лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Леве и стал собирать выползков вместе с ним…

— Но боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И, более того, он презирал тех, кто врет. Даже если врали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил… Впрочем, вряд ли это вам нужно.

Вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог…

И Сергей Павлович принялся рассказывать, как зоопсихолог проклевывался в Леве Абалкине.

Назвался груздем — полезай в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял «Ах, вот как?», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» Иногда я очень не люблю свою профессию.

Потом я его спросил:

— А друзей у него, значит, было не много?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклоняется от встреч.

И вдруг его прорвало.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую

ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло…

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним…

— И как вы его нашли?

— Замечательный мальчишка, энтузиаст… Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды… И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас…

Я осекся и принял блюдце с малиной.

— Голованы… — проговорил он с горечью. — Возможно, возможно. Но, видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет…

Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту переведет разговор на меня.

Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал:

— Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга.

— Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников… — Он замолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову.

Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошел бурыми пятнами.

— Школьная подруга? — спросил я, чтобы скрыть неловкость.

— Нет, — сказал он. — То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.

1 июня 78-го года

Маленький инцидент с Ядвигой Михайловной

В 19.23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и пяти минут, как информационная карточка лежала передо мной.

Майя Тойвовна Глумова была на три года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при КОМКОНе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойво Глумов одиннадцати лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время — о чудо! — она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в трех кварталах от нас, на Площади Звезды. И жила она совсем неподалеку — на Аллее Канадских Елей.

Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойво Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными

северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался.

Так. Придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже двадцать пять лет.

Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после четвертьвековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто — со своим Учителем, нередко — со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже второй день работает неуверенно из-за флюктуаций нейтринного поля.

Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас.

Мне повезло. Ядвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Ядвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила.

Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?.. Лева Абалкин… Простите, как вас зовут?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать… Я договорился с издательством, они заинтересовались…

— Но вы сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой

профессии — журналист…

Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать… Основная профессия у меня… н-ну, пожалуй, Прогрессор… хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа… да и сейчас связан с ним в известном смысле…

— Ушли на вольные хлеба? — сказала Ядвига Михайловна.

Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время — весьма и весьма обычного.

— Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но с вашего позволения — через некоторое время. Давайте я вам позвоню… через час-полтора.

Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке, — самой обыкновенной доброжелательности.

— Ну разумеется, — сказал я. — Как вам будет удобно…

— Извините меня, пожалуйста.

— Нет, это вы должны меня извинить…

Она записала номер моего канала, и мы расстались. Странный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Пр-р-роклятая профессия… «И началась самая увлекательная из охот — охота на человека…» О темпора, о морес! Как они часто все-таки ошибались, эти классики… Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаос. Я запросил сводку. Нуль-связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир».

Я успел прочитать страниц пять, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселенц. Я поднялся.

Нам редко приходится видеть Экселенца иначе как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем как на вешалке, и вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми.

— Сядь, — сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной.

Я тоже поспешно сел.

— Докладывай, — приказал он.

Я доложил.

— Это все? — спросил он с неприятным выражением.

— Пока все.

— Плохо, — сказал он.

— Так уж и плохо, Экселенц… — сказал я.

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы! А его однокашники по школе Прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае, а что касается Прогрессоров…

— Уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все, — сказал я, начиная злиться.

— У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами.

— Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим голованом. Щекном. Но у меня намечен определенный порядок… Я вовсе не считаю, что детский врач — это совсем уж пустая трата времени…

— Помолчи-ка, — сказал он. — Дай мне твой список.

Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал:

— Щекн — это неплохо. И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи. И эту… Глумову… Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Леканову оставь. Это тебе не нужно.

— Но она же все равно позвонит!

— Не позвонит, — сказал он.

Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Леканова не позвонит.

— Послушайте, Экселенц, — сказал я. — Вам не кажется, что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут дело?

Я был уверен, что он отрежет: «Не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим… Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною не замеченной и мешает мне.

Но он сказал другое:

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока

не могу ничего сказать. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Тайна личности.

Из отчета Льва Абалкина

…К десяти часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы: впереди по оси маршрута — Щекн, за ним и левее — я. От принятого порядка движения — прижимаясь к стенам — пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жестью, и уже дважды обломки карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы.

Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и снова налетают полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс — шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза

у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи — тоже непонятно. Разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, хотя и не трусливые. Занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Город безусловно и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно.

Сообщение от группы Рэма Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку — гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать.

Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на пять минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной

красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно.

Сообщение от группы Эспады. Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров: ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты — похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение.

Эксперты категорически протестуют против решения Эспады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает:

— Пресловутая человеческая техника! Смешно…

На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя

все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин.

Он бежит по полустертой осевой линии проспекта вразвалку, слегка занося вбок задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутой влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт.

Мне кажется, он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и он без всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги-

аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развевающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны, он почему-то не желал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке…

— А вот что-то новенькое, — говорю я.

Это что-то вроде кабины ионного душа — цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала, да там в ней и нечему было страдать — внутри она пустая, как пустой стакан.

— Стакан, — говорит Вандерхузе. — Но с дверцей.

— Ионный душ, — говорю я. — Но без оборудо-

вания. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракше, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются: «стакан».

— А что он регулирует? — с любопытством осведомляется Вандерхузе.

— Уличное движение на перекрестках, — говорю я.

— До перекрестка далековато, как ты полагаешь? — говорит Вандерхузе.

— Ну, значит, это ионный душ, — говорю я.

Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется:

— А вопросы?

— Два естественных вопроса: зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание: никаких проводов и кабелей нет. Щекн, у тебя есть вопросы?

Щекн более чем равнодушен — он чешется, повернувшись к кабине задом.

— Мой народ не знает таких предметов, — сообщает он высокомерно. — Моему народу это неинтересно. — И он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом.

— У меня все, — говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше.

Его народу это, видите ли, неинтересно, думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок, чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их (или морды?) почти совсем лишены мимики — по крайней мере, на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю — почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в Крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент! И Марта жаловалась Комову на то же, и Раулингсон, и только Комов никогда не жаловался — я думаю, просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец в конце концов просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахоргами и счастлив… Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и

неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору.

— Щекн, — говорю я, — тебе хотелось бы жить на Пандоре?

— Нет, мне нужно быть с тобой.

Ему нужно быть. Вся беда в том, что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «можется» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть, что это его обязанность — быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй…

Впереди справа, от грязно-белого балкона на третьем этаже отделяется пласт штукатурки и с шумом обрушивается на тротуар. Возмущенно пищат крысы. Комариный столб вырывается из кучи мусора и крутится в воздухе. Через улицу

узорчатой металлической лентой заструилась огромная змея, свернулась спиралью перед Щекном и угрожающе подняла ромбическую голову. Щекн даже не останавливается — небрежно и коротко взмахивает передней лапой, ромбическая голова отлетает на тротуар, а он уже трусит дальше, оставив позади извивающееся клубком обезглавленное тело.

Эти чудаки боялись отпустить меня вдвоем со Щекном! Первоклассный боец, умница, с неимоверным чутьем на опасность, абсолютно бесстрашен — не по-человечески бесстрашен… Но. Разумеется, не обходится и без некоторого «но». Если придется, я буду драться за Щекна как за землянина, как за самого себя. А Щекн? Не знаю. Конечно, на Саракше они дрались за меня, дрались, и убивали, и гибли, прикрывая меня, но всегда мне казалось почему-то, что не за меня они дрались, не за друга своего, а за некий отвлеченный, хотя и очень дорогой для них принцип… Я дружу со Щекном уже пять лет, у него еще перепонки между пальцами не отпали, когда мы с ним познакомились, я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями, в которых наши врачи так и не сумели ничего

понять. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, что не прощаю никому в мире. И до сих пор я не знаю, кто я для него…

Вызов с корабля. Вандерхузе сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках.

Пока мы говорим о пустяках, Щекн ныряет в ближайший подъезд. Оттуда доносится возня, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты.

Каждый раз, когда я нахожусь на связи, Щекн принимается вести себя как собака — то кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего с ним одиночества вдвоем.

Он приносит мне свои извинения, ссылаясь на то, что это вкусно и что он не мог удержаться. Я говорю с ним сухо.

Начинается мелкий моросящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла.

Мы минуем семнадцатый квартал (поперечная улица вымощена булыжником), проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося, облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой.

В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый нелепый длинный человек.

Он худой как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.

Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку — красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысло-

ватом ритме узловатые пальцы. Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец.

В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые, и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами.

— Это не опасно, — говорит Щекн.

— Мы обязаны ему помочь, — говорю я.

— Как хочешь. Он будет нам мешать.

Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором.

— Опасно сзади! — говорит вдруг Щекн.

Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного: двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски,

фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток: с самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя.

— В котором окне? — спрашиваю я.

— Не знаю. — Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. — Ни в каком окне. Хочешь — посмотрим? Но уже меньше… — Тяжелая голова медленно поднимается. — Все. Как всегда.

— Что?

— Как сначала.

— Опасно?

— С самого начала опасно. Слабо. А сейчас было сильно. И опять как сначала.

— Люди? Зверь?

— Очень большая злоба. Непонятно.

Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой плотной зелени.

Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и, скорее всего, нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде.

Сообщение от группы Эспады: его обстреляли. Трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение. Мы — тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности, голос у него совсем жалобный.

Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан — Прогрессор. У Желтухина капитан — Прогрессор. А у нас — Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется: Эспада — это группа контакта, Рэм — основной поставщик информации, а мы со Щекном — просто пешие разведчики в пустом безопасном районе. Вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, — а ведь всегда что-нибудь случается, — то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов, старый

милый Вандерхузе — это всего-навсего звездолетчик, опытнейший космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3: «При обнаружении на планете признаков разумной жизни НЕМЕДЛЕННО стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания…» А здесь — предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон…

Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые, в кузовах громоздится домашний скарб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт?

Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка, перекресток

пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка.

— Вонь, — говорит Щекн. И чуть помедлив: — Звери. — И еще помедлив: — Много. Идут сюда. Слева.

Теперь я тоже слышу запах, но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг: тысяченогий топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фырканье. Тысячи ног. Тысячи глоток. Стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсидеться.

— Дрянь, — говорит Щекн. — Собаки.

В ту же секунду из переулка слева хлынуло. Собаки. Сотни собак. Тысячи. Плотный серо-желто-черный поток, топочущий, сопящий, остро воняющий мокрой псиной. Голова потока уже втянулась в переулок направо, а поток все льется и льется, но вот несколько тварей отделяются от стаи и круто поворачивают к нам — крупные облезлые животные, худущие, в клочьях свалявшейся шерсти. Бегающие нечистые глазки, желтые слюнявые клыки. Тоненько, словно бы жалобно, потявкивая, они приближаются к нам трусцой и не прямо, а по какой-то замысловатой дуге, горбя бугристые туловища и заводя под себя

подрагивающие хвосты.

— В дом! — вопит Вандерхузе. — Что же вы стоите? В дом!

Я прошу его не шуметь. Сую руку под клапан комбинезона и берусь за рукоятку скорчера. Щекн говорит:

— Не надо. Я сам.

Он медленно, вразвалку направляется навстречу собакам. Он не принимает боевой позы. Он просто идет.

— Щекн, — говорю я. — Давай не будем связываться.

— Давай, — отзывается Щекн, не останавливаясь.

Я не понимаю, что он задумал, и, держа скорчер стволом вниз в опущенной руке, иду вдоль колонны грузовиков параллельным курсом. Мне надо увеличить сектор обстрела на тот случай, если грязно-желтый поток разом повернет на нас. Щекн все идет, а собаки остановились. Они пятятся, поворачиваются к Щекну боком, еще сильнее горбясь и совершенно упрятав хвосты между ногами, и, когда до ближайшей остается десяток шагов, они вдруг с паническим визгом бросаются наутек и мгновенно сливаются со стаей.

А Щекн все идет. Прямо по осевой, неторопли-

во, вразвалочку, словно перекресток перед ним совершенно пуст. Тогда я стискиваю зубы, поднимаю скорчер на изготовку и перехожу на осевую позади Щекна. Грязно-желтый поток уже совсем рядом. От нестерпимой вони (или от страха?) выворачивает наизнанку. Я стараюсь глядеть прямо перед собой и думаю: два удара влево и сразу же удар вправо, два влево и сразу вправо…

И тут внезапно над перекрестком поднимается отчаянный визг. Стая разрывается, очищая дорогу. Давя друг друга, карабкаясь друг на друга, кусая и топча друг друга, визжа, воя, рыча, псы устремляются долой с перекрестка. Через несколько секунд в переулке справа не осталось ни одной собаки, а переулок слева забит шевелящейся массой косматых тел, упирающихся лап и оскаленных пастей. И над этой массой столбом поднимается белесый вонючий пар, и тысячеголосый вой отчаяния и смертельного ужаса забивает мне уши, словно ватой.

Мы пересекаем перекресток, усеянный клочьями грязной шерсти, вопящий ад остается за спиной, и тогда я заставляю себя остановиться и поглядеть назад. Середина перекрестка по-прежнему пуста. Стая повернула. Обтекая колонну грузовых машин, она двигается теперь от нас по

проспекту в сторону окраины. Визг и вой понемногу стихают, еще минута — и все становится как прежде: слышится только деловитый тысячелапый топот, костяное постукивание, сопение, фырканье. Я перевожу дух и засовываю скорчер обратно в кобуру. Я здорово перетрусил.

Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор. Оба. За наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует. Он только ворчит: «Скажи ему, что никакого риска не было. — И добавляет: — Почти...» Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и естественно, что еще меньше меня понимает Вандерхузе. Я уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля.

— Если они дойдут до вас, пугните их огнем, — заключаю я.

Вандерхузе еще раз выражает нам свое неудовольствие и разрешает продолжать движение. Я совершенно отчетливо представляю себе, как он, выразив неудовольствие, привычным щелчком взбивает левую бакенбарду, подправляет правую, а затем, откинувшись в кресле, принима-

ется вновь настороженно ревизовать обзорные экраны в покорном ожидании очередной неминуемой неприятности.

Мы проходим до конца двадцать второго квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы — ни одной крысы, ни одной змеи, и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это — Щекн.

На четвертом году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку — ну, не симфоническую, конечно, а песенки, простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то.

Он косит на меня желтым глазом.

— Как ты догадался про огонь? — осведомляется он.

Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь! Когда же это я успел?

— Смотря про какой огонь, — говорю я наугад.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю? Или не хочешь говорить?

Огонь, огонь, торопливо думаю я. Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать

нечто важное. Если не торопиться. Если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне? Да! «Пугните их огнем».

— Каждый ребенок знает, что животные боятся огня, — говорю я. — Поэтому я и догадался. Разве это было так уж трудно — догадаться?

— По-моему, это было трудно, — ворчит Щекн. — До сих пор ты не догадывался.

Он замолкает и перестает косить глазом. Поговорили. Все-таки он умница. Соображает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних… И в том и в другом случае разговор лучше закруглить… Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался. Я просто сказал Вандерхузе: «Пугните их огнем». А Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь… У Щекна, естественно, не было никакого огня… Значит, был! Только я его не видел, а собаки видели. Вот так так, этого только еще не хватало. Ай да Щекн!

— А ты и обжигал их тоже? — спрашиваю я вкрадчиво.

— Огонь обжигает, — отзывается Щекн сухо.

— И это умеет любой голован?

— Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями. А в

устье Голубой Змеи нас зовут мороками. А на Архипелаге — «цзеху»... В русском языке нет соответствия. Это значит — «подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа».

— Понятно, — говорю я.

Всего лишь пять лет понадобилось мне, чтобы узнать: оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то — кто его знает... Всего-навсего пять лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов?

Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему.

— Не жадничай, — говорит он. — Зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины и ваша наука...

Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, — длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины,

толстенькие колеса на резиновом ходу… С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью, крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда.

Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами совершенно ни к селу ни к городу стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с пятидесяти метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, при-

нявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора.

Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта.

Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами.

Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль и брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом: «Люди… Какое же тут может быть сомнение… Разумеется, люди… Железо и огонь, развалины, всегда одно и то же…» Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу, и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края — леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью…

На этой площади нам делать больше нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины, одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные ка-

таклизмы — будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа — выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий…

Сообщение от Эспады: он вступил в контакт. Приказ Комова: всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика…

2 июня 78-го года

Майя Глумова, подруга Льва Абалкина

Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в девять утра направился на Площадь Звезды.

На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из нетесаного мрамора влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услыхал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой

экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал… Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, забыли перепрограммировать, и теперь они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери.

Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений. Эта пластиковая, под мореный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно унылый: за ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов вновь накопить

энергию у него было немного.

Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос:

— Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю.

— Массаракш! — произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности.

Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли.

Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь.

— Музей внеземных культур… — затянул было замогильный голос и вдруг смолк.

Дверь распахнулась.

— То-то же, — сказал я и вошел.

Кибер остался за порогом.

— Ну? — сказал я ему. — Заходи.

Но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.

В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях,

но и здесь тоже попахивало основательно. Внеземными культурами, надо полагать.

Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам Спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось убеждение, что назначение их как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь.

Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете-мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо — красивая, мало того — очень милая женщина, прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные

обнаженные руки с длинными пальцами, свободная синяя блузка-безрукавка в вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка.

Она глядела на меня рассеянно, и даже не на меня, а как бы сквозь меня, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она положила их перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения, — сказал я. — Меня зовут Максим Каммерер.

— Да. Слушаю вас.

Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: не слушала она меня. Не слышала она меня и не видела. И вообще ей было явно не до меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинился бы и потихоньку ушел. Но я не мог позволить себе быть приличным человеком. Я был сотрудником КОМКОНа-2 на работе. Поэтому я не стал ни извиняться, ни тем более уходить, а просто уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил:

— Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают…

Кажется, она немножко удивилась:

— Не пускают? Разве?

— Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход.

— А, да… Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?

Я повторил, что я Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.

И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.

— Вы сами его знали? — спросила она.

Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.

— И вы обо всем этом напишете?

— Разумеется, — сказал я. — Но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она.

На лице ее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете, — начал я снова, — мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде…

— Но он же не стал специалистом в своей области, — сказала она. — Они же сделали его Прогрессором. Они же его… Они…

Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О Господи! Женские слезы — это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей — только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.

А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и все не открывала лица, а потом вдруг принялась говорить и говорила так, будто думала вслух — перебивая самое себя, без всякого порядка и без всякой цели…

…Он лупил ее — ого, еще как! Стоило ей поднять

хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, — она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые…

…Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал — для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для нее. И нырял на тридцать два метра — для нее. И писал стихи по ночам — тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его Учитель…

…У него было еще много собственных вещей.

Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса…

…Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но

она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого…

…А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она — самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он был уже почти Прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. А надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать…

…Последнее его письмо, как всегда написанное от руки, — он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки, — последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери, — писал он, — в них стреляли, они умирали». И больше ничего не было в этом последнем его письме…

Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир», — все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило такое, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.

2 июня 78-го года

Майя Глумова и журналист Каммерер

Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился — только на несколько секунд рань-

ше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг?

Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому, что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас…

Она вдруг снова спросила:

— Кто вы такой?

Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался

заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода, и вот появился я и назвал имя Льва Абалкина — словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкричаться, выплакаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле, — совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, и чтобы наутро, впервые за двадцать лет, услыхать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего

человека…

— Кто вы такой? — спросила она надтреснутым и сухим голосом.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил я в третий раз, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде журналист… Но ради бога… Я, видимо, попал не вовремя… Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине…

— Что он здесь делает?

Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспосабливаться. И побыстрее. И я, разумеется, приспособился.

— В каком смысле? — спросил журналист Каммерер озадаченно и с некоторой даже тревогой.

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— З-задание? Н-не совсем понимаю… — Журналист Каммерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Каммереру хотелось убежать. — Майя Тойвовна,

ведь я… Ради бога, вы не подумайте только… Считайте, что я ничего здесь не слышал… Я уже все забыл!.. Меня здесь вообще не было!.. Но если я могу чем-то помочь вам…

Журналист Каммерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат.

— …У меня, видите ли, такая манера работы… — бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. — Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось… Я начинаю с периферии: друзья, сотрудники… Учителя, разумеется… Наставники… а потом уже — так сказать, во всеоружии — приступаю к главному объекту исследования… Я справлялся в КОМКОНе, мне сказали, что Абалкин вот-вот должен вернуться на Землю… С Учителем я уже поговорил… С врачом… Потом решил — с вами… Но не вовремя… Простите и еще раз простите. Я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение…

И он таки успокоил ее, этот неуклюжий и глу-

поватый журналист Каммерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения исчезли, проснулся стыд, и навалилась усталость.

— Да, — сказала она. — Это совпадение…

Теперь журналисту Каммереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так, попросту, оставить в одиночестве измученную, расстроенную женщину, без всякого сомнения нуждающуюся в помощи и поддержке.

— Разумеется, совпадение, и не более того… — бормотал он. — И забудем, и ничего не было… Потом, когда-нибудь, когда вам будет удобно… угодно… Я бы с величайшей благодарностью, разумеется… Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую с главным объектом, а потом уже… Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом…

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно… Зачем? Я посижу здесь с вами… на всякий случай…

Она наконец отняла руку от глаз.

— Не надо вам со мной сидеть, — устало сказала она. — Ступайте лучше к своему главному объекту…

— Нет-нет-нет! — запротестовал журналист

Каммерер. — Успею. Объект, знаете, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну… Времени у меня сколько угодно… — Он посмотрел на часы с некоторой тревогой. — А объект теперь никуда не денется! Теперь я его поймаю… Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих Прогрессоров в отпуске… Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям…

— Его нет в городе, — сказала Майя Тойвовна, пока еще сдерживаясь. — Вам до него два часа лету…

— Два часа лету? — Журналист Каммерер был неприятно поражен. — Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление…

— Он на Валдае! Курорт «Осинушка»! На озере Велье! И имейте в виду, что нуль-Т не работает!

— М-м-м! — очень громко произнес журналист Каммерер.

Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в его планы на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий.

— Два часа… — забормотал он. — Так-так-так… Я как-то совсем по-другому это себе представлял… Прошу извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?

— Наверное, можно, — сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом. — Я не знаю его номера… Послушайте, Каммерер, дайте мне остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку.

И вот только теперь журналист Каммерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спохватился, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор.

Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.

2 июня 78-го года

«Осинушка». Доктор Гоаннек

С восточного берега «Осинушка» выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще

узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом — надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен.

Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая, плыть было одно удовольствие.

Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом:

— Так и бредете из Москвы в одних трусах?

Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые — маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала похожим не то на отставного

жокея, не то на марк-твеновского школьника, удравшего из воскресной школы.

— Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество, — сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки.

— Вранье, — сказал он. Кратко сказал. Увесисто.

— Говорят, здесь время можно неплохо провести, — сказал я.

— Смотря кому, — сказал он.

— Модный курорт, говорят, здесь, — сказал я.

— Был, — сказал он.

Я иссяк. Мы помолчали.

— Модный курорт, юноша, — наставительно произнес он, — был здесь три сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Брячеслав, «тому обратно». Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроядения и диких дебрей… «Дикие скалы — вот мой приют», видите ли… Таймыр и Баффинова Земля, знаете ли… Космонавт? — спросил он вдруг. — Прогрессор? Этнолог?

— Был, — сказал я не без злорадства.

— А я врач, — сказал он, не моргнув глазом. — Полагаю, вам я не нужен? Последние три сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт

показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается: почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?

— Только как приятный собеседник, — сказал я искренне.

— Ну что ж, и на том спасибо, — отозвался он с готовностью. — Тогда пойдемте пить чай.

И мы пошли пить чай.

Доктор Гоаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как-то: крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к Линии Доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина нуль-Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника.

Чай у доктора состоял из: ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего, с изюмом, кваса. Собственно чая, чая как такового, не было, — по глубокому убеждению доктора Гоаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай

представлял собою кулинарный нонсенс.

Доктор Гоаннек был старожилом «Осинушки» — он принял здешнюю практику двенадцать сезонов назад. Он видывал «Осинушку» и заурядным курортом, каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка.

Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в «Осинушку» всего лишь троих.

В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара — негр банту и малайка — перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями.

Да вот еще вчера рано утром объявился нежданно-негаданно в «Осинушке» некий странный

юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта — за это доктор Гоаннек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком — не был он похож на человека, путешествующего пешком: пеших туристов доктор Гоаннек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флюктуаций нейтринного поля, а значит, в «Осинушку» нуль-транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается: если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гоаннека, словно именно в докторе Гоаннеке он нуждался всю свою жизнь?

Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Каммереру несколько туманным, и доктор Гоаннек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гоаннек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение, и таковое истощение действительно имело место, причем настолько

сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гоаннек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гоаннек счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа как ни в чем не бывало принимал гостей.

Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом — на стандартном глайдере… Собственно, не гости, а гостья. И очень правильно: для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гоаннека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например… Доктор Гоаннек привел пример номер один. Или, скажем… Доктор Гоаннек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является… И доктор Гоаннек привел примеры за номерами три, четыре и пять.

Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Каммерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою Прогрес-

сором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гоаннеком с негодованием. С Прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе — гораздо сложнее, а в известном смысле, наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гоаннек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был Прогрессором…

Но странный юноша, разумеется, не был Прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать Прогрессором: у него для этого малопригодный тип нервной организации. Нет, не Прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гоаннека. Помнится… И доктор Гоаннек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными Иксами, Бетами и даже Альфами…

Турист Каммерер, бывший Прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повество-

вание, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отметено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего Прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.

Бывший Прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельством, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.

— Где жил этот неврастеник? — прямо спросил он и тут же пояснил: — Это я — чтобы туда зря

не ходить.

Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.

— Превосходно, — объявил турист Каммерер. — Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда… Мне нравится, что там как будто рябина погуще…

Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший Прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.

— Разумеется, — сухо сказал он. — Я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать…

— Как? А вы?

— Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке…

Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему

обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.

— Пр-р-роклятые годы, — сочувственно произнес он, и дело было сделано.

Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастеника.

2 июня 78-го года

В избе номер шесть

Мне было ясно, что, скорее всего, «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем неясны. Действительно, как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно:

либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?

И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого Прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые… Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело направить в Прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело — определить Прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы — и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями… Кстати, Тристан уже умер… И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.

Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике

под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.

Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три — даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками.

Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно Линии Доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запускается киберуборщик…

Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена — цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего этого торчала по-

чатая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но, поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.

Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.

Все еще на корточках, я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилом человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекий маль-

чишка лет двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.

Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.

И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, — рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, — почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных — не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.

Все это было непонятно и уж, во всяком случае, никак не увязывалось с хаосом в комнате

и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и в общем-то веселом лице. Был там еще и шарж на Учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил наконец, что за строения изображены на рисунках — четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов… И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.

Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то

ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок…

Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собою на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними…

Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселенца.

2 июня 78-го года

Неожиданная реакция Экселенца

Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мной, а с какими-то другими, далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда, — сказал я сухо.

Он не спорил.

— Что думаешь делать дальше? — спросил он.

— По-моему, сюда он больше не вернется.

— По-моему, тоже. А к Глумовой?

— Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю. Но шанс, конечно, остается.

— Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

— Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить… Особенно если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве…

— Не преувеличивай, — проворчал Экселенц. — Они уже давно не дети. Поставим вопрос так: если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его?

— Не знаю, — сказал я. — Скорее всего — да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна.

— Литература, — проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: — Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Я разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог, — сказал я. — Она была в истерике, а когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм…

Он прервал меня:

— Тебе придется встретиться с ней еще раз.

— Тогда разрешите мне изменить легенду!

— Что ты предлагаешь?

— Например, так. Я из КОМКОНа. На некоей планете произошло несчастье. Лев Абалкин — свидетель. Но несчастье это так его потрясло, что он бежал на Землю и теперь никого не хочет видеть… Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло…

Экселенц молчал, предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова:

— Поймите, Экселенц, теперь нельзя уже больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубе-

дил, кажется, но, если я снова появлюсь в том же амплуа, это же будет явный вызов здравому смыслу! Либо она поверила, что я — журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я — представитель КОМКОНа, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила.

По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, Экселенцу виднее, что более важно: найти человека или сохранить тайну розыска.

Он спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?

Я удивился:

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой…

Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал как школьник:

— Но ведь она же там работает… Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал…

— Глумова работает в Музее внеземных культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил он.

— Ну да, а что случилось?

— В Спецсекторе объектов невыясненного назначения… — тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз.

— Да, — сказал я шепотом.

Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина.

— Экселенц…

— Помолчи! — гаркнул он. И мы оба надолго замолчали.

— Так, — сказал он наконец обычным голосом. — Отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего — ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?

— Два с половиной часа.

— Почему так долго?

— Мне еще озеро надо переплыть.

— Хорошо. Вернешься домой — доложи мне.

Торопись.

И экран погас.

Из отчета Льва Абалкина

...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику — им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что он не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом, например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то

же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то-се...).

Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно и ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его, Щекна, овсяную похлебку с бобами... И так далее, и так далее, и так далее.

Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться

ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой…

С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное, тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!..»

— Развлекаешься? — тихонько спрашиваю я Щекна.

Он только косится выпуклым глазом.

— Склочник, — говорю я. — И все вы, голованы, склочники и скандалисты…

— Мокро, — невпопад отзывается Щекн. — И полно лягушек. Ступить некуда… Опять грузовики, — сообщает он.

Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа, и минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин.

Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и

крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с восемью колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, вкривь и вкось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, — невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Идти быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться, и все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости…

Где-то на краю сознания жалобно бубнят усмиренные эксперты, встревоженно гудит Вандерхузе, но мне не до них. Я с проклятьями вытягиваю ноги из вонючей трясины полусгнившего тряпья и сейчас же с проклятьями проваливаюсь в недра каких-то огромных ящиков, где в грудах затхлой бумаги отчаянно пищат голые розовые крысята, и с проклятьями выкатываюсь, проламывая плечом какую-то гнилую деревянную стенку, под дождь, в лужу, распугивая лягушек… Хрустит и скрипит под ногами битое стекло, раскатываются в стороны какие-то то ли банки, то ли подшипники, прочное на вид никелированное железо разваливается в прах, когда рука пытает-

ся опереться на него, а один раз стенка фургона, гигантского, как трансконтинентальный контейнер, вдруг сама собой раскалывается поперек, и с гнилым хрюканьем вываливаются оттуда потоки неузнаваемого мусора в густых клубах отвратительно воняющей пыли…

А потом как-то неожиданно этот безобразный лабиринт кончается.

То есть вокруг по-прежнему машины, сотни машин, но теперь они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах, а середина улицы совершенно свободна.

Я гляжу на Щекна. Щекн яростно отряхивается, чешется всеми четырьмя лапами сразу, вылизывает спину, плюется, изрыгает проклятия и снова принимается отряхиваться, чесаться и вылизываться.

Вандерхузе тревожно осведомляется, почему мы сошли с маршрута и что это был за склад. Я объясняю, что это был не склад. Мы дискутируем на тему: если это следы эвакуации, то почему аборигены эвакуировались с окраины в центр.

— Обратно я этой дорогой не пойду, — объявляет Щекн и яростным шлепком припечатывает к мостовой пробирающуюся мимо лягушку.

В два часа пополудни Штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через Космос — не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляются с магазинными винтовками. Вывод для нас со Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.

Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди из тумана возникает приземистый квадратный силуэт. Это опять броневик — совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу

каждому, кто выходил на площадь, теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покатый лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.

Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отстаивался здесь много-много лет и за эти годы слежался, свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.

— Под ноги! — командует вдруг Щекн.

Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.

— Можешь включить свой прожектор, — ворчит Щекн.

Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки — от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью

проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволочки, то ли пружинки…

— Они все здесь шли… — говорит Щекн со странной интонацией.

Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью — человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне…

— Яма… — говорит Щекн.

Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. Насколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах

впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.

— Ступеньки! — говорит Щекн как бы с отчаянием. — Дырчатые! Глубоко! Не вижу…

У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слыхал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное…

— Дна нет… — говорит он с отчаянием. — Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся… Мы должны туда идти?

Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.

— Я не вижу здесь ямы, — говорю я на языке голованов. — Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.

Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напря-

жены, и он все теснее прижимается ко мне.

— Ты не можешь видеть, — говорит он. — Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказывай.

— Дружище, — говорю я. — Что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?

— Не проси, — говорит он. — Не зови. Не приглашай.

— Мы сейчас уйдем отсюда, — говорю я.

— Да. И быстро!

Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на Штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся.

Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щекн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив.

Я усмехаюсь про себя и думаю, что на его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:

— Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей очень глубоко, не слышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть.

— Попытайся объяснить, — говорю я ему. — Это очень важно.

Но Щекн не может объяснить. Очень страшно, твердит он. Планеты круглые, пытается объяснить он, и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет.

— А почему я не видел этой дырки?

— Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я…

Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.

Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.

По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом обрушиваются по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она — старая, дырявая, рыхлая, — медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.

— Что там у вас происходит? — вопит Вандерхузе.

— Сквозняк какой-то… — отзываюсь я сквозь зубы.

Новый удар ветра заставляет меня пробежаться

вперед помимо воли. Это как-то унизительно.

— Абалкин! Щекн! — гремит Комов. — Держитесь середины! Подальше от стен! Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы…

И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унизительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.

— Все? — раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.

— Все, — говорит Комов. — Можете продолжать движение.

— Огромное вам спасибо, — говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.

В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе.

— Приношу свои извинения, — говорит Комов. — Мне нужно было разогнать туман.

В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.

— Лев, — говорит он. — Опасности больше нет.

Совсем. Сдуло.

— И на том спасибо, — говорю я.

Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание Главного Гаттауха. Я вижу его перед собой как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет двухсот на вид, утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью…

Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь — просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».

На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов, — цилиндр высотой

метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.

На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «не интересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.

Я обхожу «стакан» кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне вполне достаточно — заполняя своими чудовищными суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых бельм гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.

Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами — в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит.

А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и

решительной схватке, — покачивается на вытянутых напружиненных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:

— В чем дело? Кто тебя обидел?

Я нашариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.

— Я задал тебе вопрос! — заявляет он с негодованием.

— Ты что же, — говорю я сквозь зубы, — до сих пор ничего не чуешь?

— Где? В этой будке? Там ничего нет!

Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном — если найдется — или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».

— В будке ничего нет! — настойчиво повторяет Щекн. — И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?

— Нет, — говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками. — Уйдем отсюда.

— Я только открою дверцу…

— Щекн, — говорю я. — Ты ошибаешься.

— Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.

— Ты ошибаешься! — рявкаю я. — Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг и тебе на меня наплевать!

Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная.

Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает лапами слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим шагов на двести и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана»…

Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с ним обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть: «С-с-скотина!..» и со всего размаха, с рыдающим выдохом залепить оплеуху по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:

— Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают…

Сообщение из Штаба. Предполагается что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками…

Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнару-

живает никаких признаков беспокойства.

— На этот раз вы опоздали, — ворчит он.

— Да, похоже на то, — отзываюсь я с готовностью.

После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него не часто.

— Странники, — ворчит он. — Я много раз слышал: Странники, Странники… Вы совсем ничего о них не знаете?

— Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу Галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома — в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками…

— Вы хотите с ними встретиться?

— Да как тебе сказать… Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда…

— Ты их боишься?

Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.

— Видишь ли, Щекн, — говорю я, — это длин-

ный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.

— Я поглядываю. Все спокойно.

— Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?

— Это потому, что здесь часто бывают люди, — говорит Щекн.

— Вот как? — говорю я. — Ну, ты меня успокоил.

— Сейчас их нет. Почти.

Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:

— За углом человек. Один.

Это дряхлый старик в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой ярко-желтой расцветки, в нелепых башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него метров двадцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.

Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и

так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине — длинный, черный, согнутый почти пополам.

Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать — хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой — «колдун», «солдат» или «человек».

Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится

все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.

— Я ничего подобного не видел, — объявляет Эспада. — Поговорите с ним, Лев…

— Уж очень он стар, — с сомнением говорит Вандерхузе.

— Сейчас умрет, — ворчит Щекн.

— Вот именно, — говорю я. — Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне…

Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.

— Все, — говорит Щекн. — Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.

Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.

Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть…

Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.

Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.

Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.

— Этот старик, — произносит он, тщательно вылизывая лапу, — его действительно оживили?

— Да.

— Он снова живой, ходит, говорит?

— Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.

— Жаль, — ворчит Щекн.

— Жаль?

— Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ…

— Где?

— Там, где он был, когда стал мертвым.

Я усмехаюсь:

— Ты думаешь, там что-нибудь есть?

— Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.

— Куда девается электрический ток, когда его выключают? — спрашиваю я.

— Этого я никогда не мог понять, — признается Щекн. — Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я — это мне известно и понятно.

— И где же ты был, когда тебя еще не было? — коварно спрашиваю я.

Но для Щекна это не проблема.

— Я был в крови своих родителей. А до этого — в крови родителей своих родителей.

— Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей…

— А если у меня не будет детей?

— Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях…

— Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?

— В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей…

— Как это — не помню? — удивляется Щекн. — Очень многое помню!

— Ну да, действительно… — бормочу я, сраженный. — У вас же генетическая память…

— Называть это можно как угодно, — ворчит Щекн. — Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей.

Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.

Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.

— Ты меня удивляешь, Лев, — объявляет он. — И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?

— Мы работаем, — возражаю я лениво.

— Зачем работать без всякого смысла?

— Почему же — без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.

— Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаёте и узнаёте и ничего не делаете с тем, что узнаёте.

— Ну, например? — спрашиваю я.

Щекн — великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.

— Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?

— Это не совсем яма, — говорю я. — Это скорее дверь в другой мир.

— Вы можете пройти в эту дверь? — осведомляется Щекн.

— Нет, — признаюсь я. — Не можем.

— Зачем же вам дверь, в которую вы все равно

не можете пройти?

— Сегодня не можем, а завтра сможем.

— Завтра?

— В широком смысле. Послезавтра. Через год…

— Другой мир, другой мир… — ворчит Щекн. — Разве вам тесно в этом?

— Как тебе сказать… Тесно, должно быть, нашему воображению.

— Еще бы! — ядовито произносит Щекн. — Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его…

Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.

Это совершенно нормальный абориген — судя по всему, из категории «человеков» — крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит

у постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.

Я осторожно завожу руку за спину и включаю линган транслятора.

— Подходи и садись, мы друзья, — одними губами говорю я.

Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки.

Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.

— Не бойся, — говорю я. — Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.

Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.

— У нас вкусная еда, — не сдаюсь я. — Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу…

Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это

«мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.

— Уходит, — ворчит Щекн.

И я тут же снова вижу аборигена — он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.

2 июня 78-го года

Лев Абалкин воочию

Около 18.00 ко мне ввалились (без предупреждения) Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разговоров, поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того, я занят.

Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-что, а ныть они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим

мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это еще было как-то оправданно, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о Капитане Немо.

Не подавая виду, я дал им войти в раж, а затем, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут (опять же без предупреждения) заявилась Алена. Это судьба, подумал я и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается.

Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срезáла, распускал хвост я — просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором: куда теперь пойти. Сандро требовал идти на «Октопусов» и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают вначале. Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный

критик, его выпады против «Октопусов» были страстны и поразительно бессодержательны, его теория современной музыки поражала своей свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады или, в крайнем случае, фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. «„Октопусов“ — в реку! — требовала она. — По бим-бом-брамселям! Давайте шуметь!» И так далее.

В самый разгар этой дискуссии, в 19.33, закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мочь: «Острова, острова, острова!..», совершая при этом нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому Б.Туарегу, между тем как Алена, закусив удила, противостояла ему «Песней без слов» Глиэра (а может быть, и не Глиэра).

— Ша! — гаркнул я, пробираясь к видеофону.

Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был Экселенц, и я успокоился.

— Подождите, я перетащу аппарат, — сказал я в голубоватое мерцание.

В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал:

— Ну вот, здесь потише… Только имейте в виду, я вас не вижу.

— Простите, я забыл… — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо — узкое, иссиня-бледное, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч.

Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он.

— Здравствуйте, Мак, — сказал он. — Вы меня узнаете?

Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте… — затянул я, лихорадочно соображая, как мне следует себя вести.

— Лев Абалкин, — напомнил он. — Помните? Саракш, Голубая Змея…

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш. — Лева! А мне сказали, что вас на Земле нет и неизвестно, когда будете… Или вы еще там?

Он улыбался:

— Нет, я уже здесь… Но я вам помешал, кажется?

— Вы мне никак не можете помешать! — проникновенно сказал журналист Каммерер. Не тот журналист Каммерер, который навещал Майю Глумову, а, скорее, тот, который навещал Учителя. — Вы мне нужны! Ведь я пишу книгу о голованах!..

— Да, я знаю, — перебил он. — Поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

— Это как раз не важно, — возразил журналист Каммерер. — Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело.

— Положим, первым были вы.

— Нет. Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще, о себе я уже написал. И о самых последних работах Комова материал у меня подобран. Как видите, пролог и эпилог есть, не хватает пустячка — основного содержания… Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго на Землю?

— Не очень, — сказал он. — Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы…

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем

удобно, — быстро подхватил журналист Каммерер. — А вот как насчет завтрашнего дня?

Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг сообразил, что никак не могу определить цвет его глаз — уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями.

— Поразительно, — проговорил он. — Вы совсем не изменились. А я?

— Честно? — спросил журналист Каммерер, чтобы что-нибудь сказать.

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Да, — сказал он. — Двадцать лет прошло. И, вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось… И, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов и как вы, Мак…

— Ну-ну, Лев, не преувеличивайте, — сказал журналист Каммерер. — При чем здесь я?

— То есть как это — при чем здесь вы? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы!

Журналист Каммерер вытаращил глаза. Я — тоже, но я вдобавок еще и насторожился.

— Ну, Лев, — сказал журналист Каммерер, —

вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие… Да и то…

— И поставляли идеи! — вставил Лев Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции за Голубую Змею — ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщ…

— Так! Это раз. Идея о том, что с голованами должны работать Прогрессоры, а не зоопсихологи, — это два!

— Погодите, Лев! Это Комова идея! Да мне вообще было на вас всех наплевать! У меня в это время было восстание в Пандее! Первый массовый десант Океанской Империи! Вы-то должны понимать, что такое… Господи! Да если говорить честно, я о вас и думать тогда забыл! Зеф вами тогда занимался, Зеф, а не я! Помните рыжего аборигена?..

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего оскаливаться! — сказал журналист Каммерер сердито. — Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой! Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же,

какими идиотскими легендами все это обросло!..

— Ладно, ладно, я больше не буду, — сказал Абалкин. — Мы продолжим этот спор при личной встрече…

— Вот именно, — сказал журналист Каммерер. — Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так…

Журналист Каммерер поиграл кнопками настольного блокнота.

— Завтра в десять ноль-ноль — у меня… Или, может быть, вам удобнее…

— Давайте у меня, — сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес, — скомандовал журналист Каммерер. Он еще не остыл.

— Курорт «Осинушка», — сказал Лев Абалкин. — Коттедж номер шесть.

2 июня 78-го года

Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина

Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я действительно хотел остаться один

и как следует подумать.

Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея, — это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить.

Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной.

Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял Учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с Учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем?

С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений. Воспоминания о первой настоящей работе. Молодость, самое счастливое время в жизни. Гм. Сомнительно…

Альтруистическое желание помочь журналисту (и первооткрывателю возлюбленных голованов) в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселенц что-то путает… В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается?

Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в «Осинушку», коттедж номер шесть. Никто не отозвался. Как и следовало ожидать.

Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. «Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов „Ц“!» — «Интересно, откуда вы знаете, Мак, о группе флотов „Ц“ и, главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю?» Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику… Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализи-

ровать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей…

Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, едва успев поздороваться… Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я — дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная… Но это же вздор! О том, что именно я открыл голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью…

Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное — светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый (скорее всего) адрес в конце…

Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. Вот как? — думает скрывающийся Лев. Очень странно! Стоило мне прибыть на Землю, и вот мною уже интересуется Максим Каммерер. А ведь я знавал Максима Каммерера! Что это? Совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер, в прошлом Мак Сим… А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести…

Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я НЕ Максим Каммерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Каммерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть…

Но! Это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых. Зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор?

Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал. И все.

А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую… Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо… Либо, с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно.

Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп!

Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я

бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, он больше всего на свете хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали… Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него наконец лопнуло терпение и он плюнул бы на этот свой штаб «Ц», на КОМКОН, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на Землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу… Вот он и вернулся!

Вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с голованами, и захотелось ему узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела, и он узнал (с помощью нехитрого приема), что нет, не участвовал — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе…

Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и

ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по КОМКОНу и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией… Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселенцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.

Я взглянул на часы: 21.51. Будем надеяться, что старик еще не лег.

Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Каммерера. Журналист Каммерер рассы́пался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло.

— У меня к вам буквально один-два вопроса, Сергей Павлович, — сказал журналист Каммерер озабоченно. — Вы ведь встречались с Абалки-

ным?

— Да. Я дал ему ваш номер.

— Вы меня простите, Сергей Павлович… Он только что позвонил мне… и он разговаривал со мною как-то странно… — Журналист Каммерер с трудом подбирал слова. — У меня возникло впечатление… Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться… В конце концов, он мог вас неправильно понять…

Старик насторожился.

— В чем дело? — спросил он.

— Вы ведь рассказали ему обо мне?.. Н-ну, о нашем с вами разговоре?..

— Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?

— Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним пятнадцать лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то… Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с голованами! Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований… Поймите, я в этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того…

— Позвольте, позвольте, молодой человек! — Старик поднял руку. — Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь…

— Ну… может быть… вы как-то недостаточно точно сформулировали…

— Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал! Я ему сказал, что некий журналист Каммерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал.

— Ну тогда я не понимаю, — сказал журналист Каммерер почти в отчаянии. — Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так… Тогда я не знаю… Тогда это что-то болезненное. Мания какая-то. Вообще эти Прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на Земле они иногда совершенно распускаются… Нервы у них сдают, что ли…

Старик завесил глаза бровями.

— Н-ну, знаете ли… В конце концов, не исключено, что Лева действительно меня недопонял… А точнее сказать, недослышал… Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в

самый последний момент…

— Да нет, я ничего такого не хочу сказать… — попятился журналист Каммерер. — Возможно, что это именно я недопонял Льва… Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид… Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым… Вам не показалось, Сергей Павлович?

Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно-общительного журналиста Каммерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то, видимо, свои мысли, рассказал, как это все у них произошло.

Примерно в 17.0 °С.П.Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу «Комарики» и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через пятнадцать минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между учеником и Учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме.

Едва поздоровавшись, фактически не давши

старому Учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в Институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и неопытности намеревался поступить, а в школу Прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой.

Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П.Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в Институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С.П.Федосеев, узнав о нелепом, с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального Совета Просвещения. И именно он, С.П.Федосеев,

был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. («Мне предъявили там заключение четырех экспертов и как дважды два доказали, что я — старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович…»)

Дойдя до этого пункта, старик замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами:

— Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру.

Мы помолчали. Потом старик добавил:

— Вот тут-то я и вспомнил про вас… Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания… Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того… Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу…

2 июня 78-го года

Короткий разговор

Экселенц был дома. Облаченный в строгое

черное кимоно, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Экселенц, — сказал я, — мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще.

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом.

— Могу я узнать — с кем?

— Можешь. Со мной.

Я осекся. Экселенц подождал немного и приказал:

— Докладывай.

Я доложил. Оба разговора — дословно, выводы свои — вкратце, а в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с голованами. А также на этого доктора Серафимовича — тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселенц молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос:

— Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас.

— Тебя это удивляет… Меня тоже. Но никакого

разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился.

— Почему вы, собственно, думаете, что это был он?

— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

— Так, может быть, этот человек…

— Нет, этого быть не может… Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что.

— Хотя по типу нервной организации быть Прогрессором ему…

— Это не твоя компетенция, — сказал Экселенц резко. — Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил.

— Понял. А если я все-таки наткнусь на него?

— Возьмешь у него интервью для своей книги. А потом доложишь мне. Не больше и не меньше.

2 июня 78-го года

Кое-что о тайнах

Около 23.30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет.

Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого восьмого (или теперь уже девятого?) чуда света — Большого Всепланетного Информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем своем опыте и всей своей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью.

Я послал одиннадцать запросов — три из них, как выяснилось, оказались лишними — и получил в результате следующую информацию о головане Щекне.

Полное его имя было, оказывается, Щекн-Итрч.

С семьдесят пятого года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии, истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства.

Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительны, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять (или опустить — как кому нравится) руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет десять назад в

минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову!..»

Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Раулингсона.

Располагалась миссия на реке Телон в Канаде, северо-западнее Бэйкер-лейк. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме нуль-Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и втуне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бэйкер-лейк.

Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информа-

цию о нем. Он, оказывается, умер двенадцать лет назад в возрасте ста восемнадцати лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского Совета Просвещения, член Всемирного совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль.

Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже два года имел адресом виллу «Лагерь Яна» в десятке километров к северу от Антонова, в приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства.

Первое: Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном.

Второе: Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 38-го года.

Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы «Йормала», а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента

«Зеркало».

Я не поверил собственной памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста: «…встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя — совершенная случайность…» Случайность. Ну, там у них, на Гиганде, может быть, и произошла некая случайность: Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 38-го года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном, родившимся 6 октября 38-го года… А у меня это что — тоже случайность? «Близнецы». От разных родителей. «Если не веришь, загляни в 07 и 11». Так. «07» — передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и «11». И логично предположить, что есть и «01», «02» и так далее… Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр: «07». Дела у нас (конечно, не в папках, а в кристаллозаписи) обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов…

Между прочим, что это за эксперимент «Зеркало»? Никогда о таком не слыхал… Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил:

«ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд: «ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска КОМКОНа-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ.

И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною — огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина — она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек.

И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту «Зеркало». Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы проясни-

ла мое зрение, я сразу связал между собою все — и странное поведение Ядвиги Лекановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого «вместилища документов», и странный шифр, и отказ Экселенца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходную установку не вступать с Абалкиным ни в какие контакты… А теперь вот еще — фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа.

Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему Экселенц поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а может быть, и лучше меня, но Экселенц, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку Экселенц доверял как самому себе.

А ведь тайна Льва Абалкина — это вдобавок еще и тайна личности! Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых — о ней ничего

не должна знать сама личность… Простейший пример: информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее: тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом…

Ну что ж, Экселенц сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее — посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в КОМКОНе-2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну», я говорю обычно «раскопать тайну» и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова.

Вот как сейчас, например.

Из отчета Льва Абалкина

...В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких скверике и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги — это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна — огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом.

У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной Луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно, во всяком случае.

Потом мы замечаем детей.

Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, куда и мы со Щекном. Судя по

одежде — мальчики. Один повыше, лет восьми, другой совсем маленький, лет четырех или пяти. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги… Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам.

Транслятор сухим бесстрастным голосом переводит: «Устал, болят ноги… Иди, тебе сказано… Иди… Нехороший человек… Ты сам нехороший, дурной человек… Змея с ушами… Ты сам несъедобный крысиный хвост…» Так. Остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят «крысы», «змеи», «дурнопахнущие животные» и прочая фауна. Потом младший принимается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться.

— Здравствуйте, ребята, — говорю я одними губами.

Я подошел к ним вплотную, но они только

сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать — глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но исподлобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю:

— Не бойся. Я добрый. Обижать не буду.

Я знаю, что линганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые успокаивающие слова.

— Меня зовут Лев, — говорю я. — Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?

Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит исподлобья — с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз — видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову.

— Вы устали, — говорю я. — Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусненького…

И тут старшего прорывает. Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусненького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать.

А куда они идут?

Куда им надо, туда они и идут.

А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече…

В конце концов все улаживается. Съедается четыре плитки шоколада и выпивается две фляги тонизатора. В маленькие рты выдавливается по полтюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон Льва и (после краткого, но чрезвычайно энергичного спора) позволяется один раз (только один!) погладить Щекна (но ни в коем случае не по голове, а только по спине). На борту у Вандерхузе все рыдают от умиления и раздается мощное сюсюканье.

Далее выясняется следующее.

Мальчики — братья, старшего зовут Иядрудан, а младшего Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда (уточнить не удается) с отцом в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две тетки и еще один брат — самый старший, ему было восемнадцать лет, — но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами, он стал ходить сам, один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов — и там-то, и там-то, и там-то (уточнить не удается). Уходя

один, отец каждый раз приказывал: если он не вернется до вечера, надо взять Книгу, выходить на этот вот проспект и идти все время вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо — надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда, где будут и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому, что ночью на улицах не бывает дурных человеков. Они бывают только днем. Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо… Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда, когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и больше никогда не приходили…

Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. Иядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с Книгой и теперь с независимым видом

идет рядом, засунув руки в карманы. Щекн бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков — некое светящееся здание — как раз и есть тот самый объект «Пятно-96».

…Что написано в Книге, Иядрудан пересказать не умеет. В эту Книгу все взрослые каждый день записывали обо всем, что случается. Как Притулатана укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла — открывала консервную банку, мама смотрит, а тетка уже мертвая… Иядрудан эту Книгу не читал, он плохо умеет читать и не любит, у него плохие способности. Вот у Притулатана очень хорошие способности, но он еще маленький и ничего не понимает. Нет, им никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где пятьсот семь комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь — редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка,

но отец настрого запретил выходить на улицу… Нет, из своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять сколько захотим… А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет, а отец говорил, что все добрые люди — с винтовками…

— Нет, — говорю я. — Не сумею я тебя отвести к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми.

— Жалко, — говорит Иядрудан.

Мы выходим на площадь. Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрусталя во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не

сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких плоских ступеней.

— Игрушки!.. — благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня.

Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно аляповатых игрушек — несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии.

Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и клянчить, чтобы все пошли в этот волшебный дом, это ничего, что папа не велел, мы только на минуточку зайдем, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей… Иядрудан пытается пресечь его, сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок «крысоухих змей», возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить, и вдруг все, включая способного Притулатана,

разом замолкают.

У ближайшего угла вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со Щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Иядрудана — за правую и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию — к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно.

Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя…

— Ты узнал? — спрашивает Щекн.

— Что именно? — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удается избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид.

— Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки…

Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник —

слева направо, справа налево… Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полупуда. Так может мотаться игрушечная винтовка — деревянная, пластмассовая. У этого «доброго человека» винтовка не настоящая…

Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка — из этого игрушечного павильона?.. Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки… Это ведь точно такой же павильон… Нет, ничего я не успел додумать до конца.

Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла, сверху вниз, наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень — скользит так легко, так невесомо, не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно, в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте — такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мель-

кании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик…

Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопауком и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. (Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу.) Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и, когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю.

В этот момент до него двадцать метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу. Весь целиком, от клешней до кончика задней ноги. Как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара.

Все кончено. Облако пара расползается с тихим

шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона как ни в чем не бывало сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием…

— Черт знает, какая дрянь страшная, — бормочу я. — Откуда они здесь взялись — за сто парсеков от Пандоры?.. А ты что, опять его не учуял?

Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади, и сразу же за ним — второй. Где-то совсем близко. Как будто за углом. Ну ясно, из того переулка, куда они все убежали…

— Щекн, держись слева, не высовывайся! — командую я уже на бегу.

Я не понимаю, что там происходит, в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук… Значит, винтовка все-таки не игрушечная? И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу, трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня.

Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете: рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть

позади — двое крепких парней с винтовками на изготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками.

— Очень опасно… — щелкает Щекн на языке голованов. — Повторяю: очень!

Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь перед стариком и спрашиваю:

— Что с детьми?

Дула винтовок направлены мне прямо в живот. В брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные.

— С детьми все в порядке, — отвечает старик.

Глаза у него светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, как у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть, мне это только кажется, может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая, отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога.

— В кого стреляли? — спрашиваю я.

— В нехорошего человека, — переводит транслятор ответ.

— Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками? — спрашиваю я.

Старик задирает брови:

— Добрые люди? Что это значит?

Я объясняю ему то, что мне объяснил Иядрудан. Старик кивает.

— Понятно. Да, мы — те самые добрые люди. — Он разглядывает меня с головы до ног. — А у вас дела, я вижу, идут неплохо… Переводящая машинка за спиной… У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты… А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали! Как из пушки. Давно прилетели?

— Вчера, — говорю я.

— А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать. — Он снова откровенно разглядывает меня. — Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли?

— Развал у вас действительно полный, — говорю я осторожно. — Целые сутки я у вас здесь, и все равно ничего не понимаю…

Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это может быть даже и

к лучшему. Только надо осторожно, очень осторожно…

— Я знаю, что вы ничего не понимаете, — говорит старик. — И это по меньшей мере странно… Неужели у вас всего этого не было?

— Нет, — отвечаю я. — Такого у нас не было.

Старик вдруг разражается длинной фразой, на которую транслятор немедленно откликается: «Язык не кодируется».

— Не понимаю, — говорю я.

— Не понимаете… А мне казалось, что я неплохо владею языком Загорья.

— Я не оттуда, — возражаю я. — И никогда там не был.

— Откуда же вы?

Я принимаю решение.

— Это сейчас не важно, — говорю я. — Не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно: вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить?

Некоторое время он молча шарит взглядом по

моему лицу.

— Не хотите говорить, откуда вы… — произносит он наконец. — Что ж, это ваше право. Вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю: вы с Северного Архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить, где вы были эти последние сорок лет, пока нас здесь гноили заживо? Жили в свое удовольствие, будьте вы прокляты!

— Не вы одни терпите бедствие, — возражаю я вполне искренне. — Теперь вот очередь дошла до вас.

— Мы очень рады, — говорит он. — Пойдемте сядем и побеседуем.

Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть — стол посередине, огромный диван у стены да два табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в глянцевитый плащ. На столе — консервные банки и большая металлическая фляга.

Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых пар-

ней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Второй угрюмый парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке.

Мне предлагается сесть на диван, после чего меня задвигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя и с железистым привкусом. Щекн тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекн не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой.

Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются.

Прежде всего старик представляется. Разумеется, он оказывается гаттаухом, и притом не просто гаттаухом, но и гаттаух-окамбомоном, что следует, по-видимому, переводить, как «правитель всей территории и прилегающих районов». Под

его правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до пятидесяти километров. Что происходит за пределами этого радиуса, он представляет себе плохо, но полагает, что там примерно то же самое. Общая численность населения его области составляет сейчас не более пяти тысяч человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам Драудан («…странно, что вы никогда о нем не слышали… ему тоже повезло — он оказался долгожителем, как и я…»), но ничего они там так и не добились за все эти сорок лет. И видимо, не добьются.

— А поэтому, — заключает старик, — давайте не будем ходить вокруг да около и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно: если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые. Принимаю безоговорочно. Если же нет, тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив.

Я молчу. Я все жду, что Штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Ну хоть что-нибудь! Но там, похоже, тоже ничего не понимают.

— Я хотел бы вам напомнить, — говорю я наконец, — что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах.

— Так задавайте вопросы! — говорит старик резко.

— Вы сказали: лечить. У вас эпидемия?

Лицо у старика делается каменным. Он долго глядит мне в глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб.

— Я же вас предупредил: не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто: есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать.

— Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки, — говорю я. — Давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти сорок лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство…

— И про Нашествие ничего не знаете? — говорит старик, не открывая глаз.

— Почти ничего.

— И про Всеобщий Угон ничего не знаете?

— Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из Космоса. Больше ничего.

— При-шерь-зы… из Коз-мо-за… — с трудом повторяет старик по-русски.

— Люди с луны… Люди с неба… — говорю я.

Он оскаливает желтые крепкие зубы.

— Не с неба и не с луны. Из-под земли! — говорит он. — Значит, кое-что вы все-таки знаете…

— Я прошел через город. И многое видел.

— А у вас там не было совсем ничего? Совсем?

— Ничего подобного не было, — говорю я твердо.

— И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества? Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?

— Лев! — шелестит у меня под шлемом голос Комова. — Разыгрывай вариант «Кретин»!

— Я — лицо подчиненное, — объявляю я строго. — Я знаю только то, что мне положено знать! Я делаю только то, что мне приказано делать! Если мне прикажут врать, я буду врать, но сейчас я такого приказа не имею.

— А какой же приказ вы имеете?

— Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства.

— Какая чушь! — с усталым отвращением говорит старик. — Ну хорошо. Будь по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи… Ладно. Слушайте.

Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор. А выглядела эта болезнь так: начиная с двенадцатилетнего возраста, вполне нормальные дети начинали стремительно стареть. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки ускорялся в геометрической прогрессии. Шестнадцатилетние юноши и девушки выглядели сорокалетними, в восемнадцать лет начиналась старость, а двадцатилетие переживали только единицы.

Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения «в соседний мир», то есть к себе, в недра земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама

собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.

Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества. Они наводнили планету «нехорошими людьми». Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размалеванных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных «стаканах». Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки — ребенок заходил туда и исчезал бесследно.

— Мы делали все, что могли. Мы вооружились — в покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться «нехороших людей», а

затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и расстреливали в упор игрушечные лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало…

Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились «чудовища». Из винтовки почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки — они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе с ним. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец последняя новинка: появились гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать…

— Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на сто тысяч остается незараженным. Вот я, например, Драудан… и еще один мальчик — он вырос на моих глазах, ему сейчас восемнадцать, и он выглядит на восемнадцать… Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда

имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия — готовы на вас работать, готовы вам подчиняться… На все условия, кроме одного: если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!

Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему лет двадцать пять. А на самом деле? Тринадцать? Пятнадцать? Подросток…

Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это — как во сне: каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?

— Откуда вы знаете, что они нелюди? — спрашиваю я. — Вы их видели? Вы лично?

Старик кряхтит. Лицо его делается страшным.

— Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного, — сипло произносит он. — Вот этими руками… Сам… Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы… Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства сорок лет назад… А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар…

— Тогда непонятно, — говорю я. — Зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелья?

— Да будьте вы прокляты! — говорит старик, повысив голос. — Это же НЕЛЮДИ! Как мы с вами можем судить, что нужно нелюдям? Может быть, рабы. Может быть, еда… А может быть, строительный материал для своих гадов… Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс…

И тут лицо его вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким

же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок.

— Что случилось? — говорю я, стараясь не шевелиться.

Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами.

— Твоя дурацкая одежда все-таки заработала, — щелкает Щекн на своем языке. — Тебя почти не видно. Только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?

— Не надо, — говорю я по-русски.

Старик наконец подает голос. Он белее стены и говорит запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик.

— Проклятый подземный оборотень! — говорит он. — Положи руки на стол! Левую на правую! Вот так…

— Это недоразумение, — говорю я сердито. — Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает.

— Ах, одежда? — издевательски произносит

старик. — На Северном Архипелаге научились делать одежду-невидимку!

— На Северном Архипелаге очень многое научились делать, — говорю я. — Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно.

— Дурак ты, — говорит старик. — Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного Архипелага… Я тебя сразу раскусил, только все никак не мог поверить в такую наглость…

— Неужели тебе не унизительно? — щелкает Щекн. — Давай ты возьмешь на себя старика, а я — обоих молодых…

— Пристрели собаку! — командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня.

— Я тебе покажу «собаку»! — на чистейшем местном наречии произносит Щекн. — Старый болтливый козел!

Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба…

3 июня 78-го года

Снова Майя Глумова

Я сильно переборщил с громкостью видеофона.

Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема.

Звонил Экселенц. Было 07.03.

— Хватит спать, — произнес он довольно благодушно. — В твои годы я не имел обыкновения спать.

До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже сорок пять… И, кстати, в мои годы он таки спал. Он и сейчас не дурак поспать.

— А я и не спал, — соврал я.

— Тем лучше, — сказал он. — Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, что именно его интересовало. Не выражал ли он желания зайти к ней в музей. Все. Не больше и не меньше.

Я откликаюсь на эту кодовую фразу:

— Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был, то что интересовало, не выражал ли желания посетить музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает Прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, при чем здесь этот музей… — пробормотал я как бы про себя.

— Ты что-то сказал? — осведомился Экселенц.

— Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?

— Тебе это важно?

— А вам?

— Мне — нет.

— Очень странно, — сказал я, глядя в сторону. — Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой…

Экселенц сказал:

— Хорошо. Выясняй. Но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел…

Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.

— Вот так, — сказал Экселенц и отключился.

Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и лязг — Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского божка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. Опять? — спросила она сочувственно и в то же время агрессивно. Опять, признался я не без вызова. Проклятье, сказала она. Не спорю, сказал я. Это надолго? — спросила она. У меня еще три дня сроку, сказал я. А если не успеешь? — спросила она. Тогда всему конец, сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы. Скучища, сказал я, надоело. Отбарабаню это дело, и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда. Я не смогу, сказала она грустно. Неужели тебе не надоело? — спросил я. Чепухой ведь занимаетесь... Вот так с ней и нужно. Она мгновенно ощетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов мы договори-

лись, что через месяц поедем на Новую Землю. Это теперь модно…

Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07.51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до восьми часов спать мог только наш Слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойво вернулся в свой интернат.

Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через три-четыре… Кстати, как сегодня насчет нуль-Т? Я запросил справочную. Нуль-транспортировка возобновила нормальную работу с четырех утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа.

Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью: у нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет.

Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей… Какое-то отношение к работе Прогрессо-

ров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет… Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенца. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенца? И чем! Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в Музее внеземных культур… В Спецсекторе объектов невыясненного назначения… Пардон! Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в Музее внеземных культур, а он мне объявил: в Спецсекторе объектов невыясненного назначения… Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинами, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели… И Экселенц допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах…

Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин, по прозвищу Водолей, из четвертой подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность,

официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему слегка растеряться сам бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но в общем справился он вполне удовлетворительно.

— Здравствуйте, — сказал я. — Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя Тойвовна… — Гриша огляделся. — Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас…

— Да, я тут только со вчерашнего дня… Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами…

— Ага, — сказал я. — Ну что ж… Спасибо. Я еще позвоню.

Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообрази-

тельный, хорошая реакция. По образованию — экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде: «Зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу…

Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10.00. Наверняка соврал, но если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил в «Осинушку».

Коттедж номер шесть отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы… — произнесла она с отвращением.

Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки — ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спу-

стя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены и что поверх строго-элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я… — сказал журналист Каммерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно… Что, Лев у себя?

— Нет, — сказала она.

— Дело в том, что он назначил мне свидание… Я хотел…

— Здесь? — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. — Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать… а его, оказывается, нет…

— А он вам точно назначил? Как он сказал? — совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя.

— Как он сказал?.. — медленно повторил журналист Каммерер. Вернее, уже не журналист Каммерер, а я. — Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня, — сказал я. — Я вам все расска-

жу. Через несколько минут я буду.

— Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула она.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас…

Две минуты на одевание. Три минуты до ближайшей кабины нуль-Т. Черт, очередь у кабины… Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно… Спасибо большое, спасибо!.. Так. Минута на поиски индекса. Что за индексы у них там, в провинции!.. Пять секунд на набор индекса. И я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда… Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гоаннека…

Она ждала меня в холле — сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно, — отозвался я.

Нарочито неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано,

и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрит прямо перед собой.

— Кого вы искали? — спросила она холодно.

— Не знаю, — честно признался я. — Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни.

— Кто вы такой? — спросила она. — Только не врите больше.

Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь — просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям.

— А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться? — сказала она.

— А что прикажете делать?

Она не ответила.

— Вот вы сидите здесь и ждете, — сказал я. — А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно. А время идет.

— Почему вы думаете, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается, — сказал я. — Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

— Зачем же вы сюда звонили?

— А затем, что я никак не могу его найти! — сказал я, понемногу свирепея. — Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский…

— Что он сделал? — спросила она.

— Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его, потому что он — единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло…

— Где — там?

— Это неважно, — сказал я нетерпеливо. — Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш.

По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш.

— Почему же он скрывается? — спросила она тихо.

— Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс.

— Болен… — сказала она, тихонько качая головой. — Может быть… А может быть, и нет… Что вам от меня надо?

— Вы виделись с ним еще раз?

— Нет, — сказала она. — Он обещал позвонить,

но так и не позвонил.

— Почему же вы ждете его здесь?

— А где мне еще его ждать? — спросила она.

В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил:

— А куда он собирался вам звонить? На работу?

— Наверное… Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

— Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?

— Нет. Он сразу позвал меня к себе. Сюда. Я взяла глайдер и полетела.

— Майя Тойвовна, — сказал я, — меня интересуют все подробности вашей встречи… Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он вам рассказывал о своей… Постарайтесь вспомнить, как это было.

Она покачала головой.

— Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали… Конечно, это действительно странно… Мы столько лет не виделись… Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала… Ведь я его спрашивала: где ты был, что делал… но он отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда…

— Значит, он расспрашивал вас?

— Да нет же! Все это его не интересовало… Кто я, как я… одна или у меня кто-либо есть… чем я живу… Он был как мальчишка… Я не хочу об этом говорить.

— Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить…

— Я ни о чем не хочу говорить!

Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье.

— Это никого не касается, — сказала она, отдавая мне стакан.

— Не говорите о том, что никого не касается, — сказал я, усаживаясь. — О чем он вас расспрашивал?

— Я же вам говорю: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил… как мальчишка… Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф… Я ничего не помнила, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала… И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам!..

Она замолчала.

— Это все — о детстве? — спросил я, подождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший… У меня уже не было сил, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мною по дому и орал: правильно, все так и было, правильно!

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с Учителем, со школьными друзьями?

— Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал и ни о ком не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала…

— Да, понимаю, понимаю, — сказал я. — А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на меня как на журналиста Каммерера.

— Ничего-то вы не понимаете, — сказала она.

И в общем-то она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселенца я получил: Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, Абалкин НЕ намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность… дань детской любви… возвращение в детство… В

это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает. Ведь она тоже не поняла, что же было у них там на самом деле…

И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали… Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений. Например — связанных с привычками штабного офицера Островной Империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного…

Я решился.

— Майя Тойвовна, — произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо, — скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, кото-

рому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?

Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.

— Я была дура, — сказала она довольно спокойно. — Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог. А теперь я понимаю: ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете…

Я встал.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна, — сказал я. — По-моему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

3 июня 78-го года

Кое-что о впечатлениях Экселенца

С обрыва было видно, что доктор Гоаннек за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с нуль-Т-нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил Экселенцу.

Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гоаннек.

— Почему она там сидит? — спросил Экселенц задумчиво.

— Ждет.

— Он ей назначил?

— Насколько я понимаю, нет.

— Бедняга… — проворчал Экселенц. Потом он

спросил: — Ты возвращаешься?

— Нет, — сказал я. — У меня еще остались этот Яшмаа и резиденция голованов.

— Зачем?

— В резиденции, — ответил я, — сейчас пребывает некий голован по имени Щекн-Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир»…

— Так.

— Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения…

— В каком смысле — необычные?

Я замялся, подбирая слова:

— Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселенц… Вы помните этот отчет?

— Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответь мне на такой вот вопрос: как ты выяснил, что голован Щекн находится на Земле?

— Ну… Это было довольно сложно. Во-первых…

— Достаточно, — прервал он меня и замолчал выжидательно.

До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно. Это мне, сотруднику КОМКОНа-2, при всем моем солидном опыте работы с БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же то-

гда говорить о простом Прогрессоре Абалкине, который вдобавок двадцать лет проторчал в Глубоком Космосе и понимает в БВИ не больше, чем двадцатилетний школяр!

— Согласен, — сказал я. — Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь: задача эта вполне выполнима. Было бы желание.

— Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?

— Нет, — сказал я честно.

Бросать камни по кустам — в переводе с нашей фразеологии означает: пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, морочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с Учителем, со мной — все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы и безнадежно отвлекаясь от главного.

— Не похоже, — сказал я решительно.

— А вот у меня есть впечатление, что похоже, — сказал Экселенц.

— Вам, конечно, виднее, — отозвался я сухо.

— Бесспорно, — согласился он. — Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я НЕ ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил бы о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию, — и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?

— Видите ли, Экселенц, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления.

— А какое есть? — спросил он с неожиданным интересом.

Я попытался сформулировать свое впечатление:

— Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов — он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный… Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни… точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скры-

ли… — Я замолчал, а потом сказал: — Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы (не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения) заставляли Экселенца пересмотреть свои представления.

Он поднял голову и сказал:

— Хорошо. Навести Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня.

— Слушаюсь, — сказал я и спросил: — А как насчет Яшмаа?

— Его нет на Земле.

— Почему же? — сказал я. — Он на Земле. Он в «Лагере Яна», под Антоновом.

— Он уже три дня как на Гиганде.

— Понятно, — сказал я, делая потуги быть ироничным. — Это же надо, какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером…

— Хорошо, хорошо, — проворчал Экселенц. — Не отвлекайся.

Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гоаннека шагнул под ночной дождь на берег реки Телон.

3 июня 78-го года

Застава на реке Телон

Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом, под обрывом, а прямо передо мною мягко отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосе: «ТЕРРИТОРИЯ НАРОДА ГОЛОВАНОВ». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы — не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахнуло на меня незабываемым Саракшем — запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадаются у нас на Земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же — обязательно рано или поздно

наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное… Ладно. Что думает по поводу этого здания журналист Каммерер? О! У него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение.

Журналист Каммерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Каммерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным.

— Ну и архитектура здесь у вас, однако! — произнес журналист Каммерер, отряхивая с плеч дождевые брызги.

— А им нравится, — безразлично возразил Александр Б., не меняя позы.

— Быть этого не может! — саркастически сказал журналист Каммерер, озираясь, на что бы присесть.

Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек.

Журналист Каммерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно. Вернее, непривычно. Но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей.

Журналист Каммерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и с механической проникновенностью транспортного кибера принялся наизусть зачитывать свой текст:

— Дорогой друг! К сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей степени не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы — замечательный, весьма самобытный народ — говорят о себе: «Мы любознательны, но вовсе не любопытны». Миссия голованов представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем бо-

лее — праздного любопытства. Уважаемый друг! Самое уместное, что вы можете сейчас сделать, — это пуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей.

Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Каммерер пребывал перед ним по-прежнему, и это его, видимо, совсем не удивило.

— Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы.

— А вставать при этом вы не обязаны? — поинтересовался журналист Каммерер.

Что-то вроде оживления засветилось в синих очах.

— Откровенно говоря, да, — признался Александр Б. — Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините…

— Охотно, — сказал журналист Каммерер и присел на край стола. — Я вижу, вы замучены любопытствующими.

— За мое дежурство вы — шестая компания.

— Я один как перст! — возразил журналист Каммерер.

— Компания есть счетное слово, — возразил Александр Б., оживляясь еще более. — Ну, напри-

мер, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст.

— Ваши объяснения удовлетворили меня полностью, — сказал журналист Каммерер. — Но я не любопытствующий. Я пришел по делу.

— Восемьдесят три процента всех компаний, — немедленно откликнулся Александр Б., — являются сюда именно по делу. Последняя компания — из пяти экземпляров, включая малолетних детей и собаку, — искала здесь возможности договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это собиратели ксенофольклора. Поветрие! Все собирают ксенофольклор. Я тоже собираю ксенофольклор. Но у голованов нет фольклора! Это же утка! Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все посходили с ума… «О лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!..» А у голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще! Хвост у них — орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас… «О тысячекомпа-

совые деревья!» Но вы, я вижу, не фольклорист.

— Нет, — честно признался журналист Каммерер. — Я гораздо хуже. Я журналист.

— Пишете книгу о голованах?

— В каком-то смысле. А что?

— Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы голованов-то когда-нибудь видели?

— Да, конечно.

— На экране?

— Нет. Дело в том, что именно я открыл их на Саракше…

Александр Б. даже привстал:

— Так вы — Каммерер?

— К вашим услугам.

— Нет уж, это я к вашим услугам, доктор! Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь…

Я моментально вспомнил разговор Каммерера с Абалкиным и торопливо пояснил:

— Я всего лишь открыл их и не более того. Я вовсе не специалист по голованам. И меня интересуют сейчас не голованы вообще, а только один-единственный голован, переводчик миссии. Так что, если вы не возражаете… Я пройду туда к ним?

— Да помилуйте, доктор! — Александр Б. всплес-

нул руками. — Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного! Пожалуйста, проходите! Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены, он покивает, распрощается, а сам выйдет — и шмыг через мост…

— Ну?

— Через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи — это все, конечно, есть, а голованов нет. Во-первых, голованы ведут ночной образ жизни, во-вторых, живут они под землей, а самое главное — они встречаются только с теми, с кем хотят встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежурим — на положении, так сказать, связных…

— А кто это — вы? — спросил журналист Кammерер. — КОМКОН?

— Да. Практиканты. Дежурим здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны… Вам кого именно из переводчиков?

— Мне нужен Щекн-Итрч.

— Попробуем. Он вас знает?

— Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка.

— Еще бы! — сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор.

Журналист Каммерер (да, признаться, и я сам) с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, защелкал, закрякал, загукал, как тридцать три голована сразу (в мертвом ночном лесу, у развороченной бетонной дороги, под мутно фосфоресцирующим небом Саракша), и очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист Каммерер при всем своем благоговении счел все-таки более деликатным отвести глаза.

Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ласково массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задыхаясь:

— Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать: я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но, по-моему, там был еще и третий… Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит… Нет. Как бы это сказать… Вы знаете, не так трудно понять голована, как трудно его перевести. Вот, например, эта рекламная фраза: «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» можно понимать так, что «мы не любопытствуем попусту», и в то же самое время — «мы для вас неинтересны». Понимаете?

— Понимаю, — сказал журналист Каммерер, слезая со стола. — Он на меня посмотрит, а там уж решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты.

— Какие хлопоты! Это моя приятная обязанность… Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе…

— Спасибо, не надо, — сказал журналист Каммерер и вышел под дождь.

3 июня 78-го года

Щекн-Итрч, голован

Было по местному времени около трех часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография.

Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут пять, а может быть и все десять, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я наконец заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мною.

— Я здесь, — объявил он.

— Вижу, — сказал я.

— Будем говорить здесь, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я.

Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином, — крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным, широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие, рубленые

фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще — от него попахивало. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать, запах был скорее неорганический — что-то вроде нагретой канифоли. Странный запах, скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, голованы пахли совсем не так.

— Что тебе нужно? — спросил он прямо.

— Тебе сказали, кто я?

— Да. Ты — журналист. Пишешь книгу про мой народ.

— Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.

— Весь мой народ знает Льва Абалкина.

Это была новость.

— И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

— Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические болота.

— Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

— Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

Мы с журналистом Каммерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили:

— Что ты можешь рассказать о Льве Абалкине?

— Ничего, — коротко ответил он.

Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал саму возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я растерялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.

Впрочем, у меня хватило самообладания. Я вовремя сообразил, что если бы эта псина-сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи.

— Я знаю, что Лев Абалкин — твой друг, — сказал я. — Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

— Зачем? — спросил он все так же коротко.

— Опыт, — ответил я.

— Бесполезный опыт.

— Бесполезного опыта не бывает.

Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Я подумал.

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

— Приходилось. Много.

— Ты почувствовал разницу?

Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щекн вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти.

— Трудно сказать, — проворчал он. — Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще-то лингвистика — вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб.

— Ты с ним встретился, — объявил я. — Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

Это могло означать: «Если бы ты с ним встретил-

ся и он бы снова пригласил тебя работать, — ты бы согласился?» Или на выбор: «Ты с ним встречался, и он (как мне стало известно) приглашал тебя работать. Ты дал ему согласие?» Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

— Он не приглашал меня работать, — возразил Щекн.

— Тогда о чем же вы говорили? — удивился я, развивая успех.

— О прошлом, — буркнул он. — Никому не интересно.

— Как тебе показалось, — спросил я, мысленно вытирая со лба трудовой пот, — он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже не интересно.

— Нет. Это очень интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я — землянин, а мне надо знать твое мнение.

— Мое мнение: да.

— Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Вот как? — искренне удивился я. — А со мной он только о голованах и говорил…

Глаза его опять озарились красным. Я понял это так, что мои слова снова его смутили.

— Что он тебе сказал? — спросил он.

— Мы спорили: кто из землян сделал больше для контактов с народом голованов.

— А еще?

— Все. Только об этом.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, что ему больше нет дела до народа голованов?

Он вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы.

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

— Не знаю.

— Что он намеревался делать?

— Не знаю.

— Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу: присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжеленной головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому. Не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

Вот это да!

У меня вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

— Так. И это главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал

мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез.

Ай да Щекн! «...Я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Ай да Щекн-Итрч!

3 июня 78-го года

Экселенц доволен

— Очень любопытно! — сказал Экселенц, когда я закончил доклад. — Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец.

— Не понимаю, — отозвался я, с раздражением отдирая колючие репьи от мокрой штанины. — Вы видите в этом какой-то смысл?

— Да.

Я вытаращился на него:

— Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?

— Нет. Этого я не допускаю.

— Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?

— Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция голованов — вот что важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен.

Я снова принялся отдирать репьи. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазищи его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят наконец с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал Странник: саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в Столицу…

Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой Земле загадочный человек с изуродованной судь-

бой, метался, не находя себе места, метался как отравленный, и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства…

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак, — сказал вдруг Экселенц негромко. — Он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает.

— Да кто же он такой, черт возьми? — спросил я. — Сумасшедший андроид?

— У андроида не может быть тайны личности, — сказал Экселенц. — Не отвлекайся.

Я засунул репьи в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой, — сказал Экселенц. — До девятнадцати ноль-ноль ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать.

— Хорошо, — сказал я без всякого энтузиазма.

Он откровенно оценивающе осмотрел меня.

— Надеюсь, ты в форме, — проговорил он. — Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений.

4 июня 78-го года

Музей внеземных культур. Ночь

В 01.08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Мак, музей, главный вход, быстро…»

Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. Три секунды на торможение. Двадцать две секунды на планирование и ориентировку. На Площади Звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно… Ага. Из кабины нуль-Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселенц.

Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос кибер-инспектора произнес с укоризной: «Посадка глайдеров на Площади Звезды не разрешается…» Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселенц уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на Площади Звезды…» — проникновенно вещал кибер-инспектор.

— Заткни его… — не оборачиваясь, проворчал Экселенц сквозь зубы.

Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся.

— За мной! — бросил Экселенц и нырнул во тьму.

Я нырнул следом. Совсем как в старые времена.

Он несся передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона, и я мельком подумал, что уж такого Экселенца наверняка не видывал ни один из нынешних наших сопляков, а видывал разве что старина Слон, да Петр Ангелов, да еще я — полтора десятка лет назад.

Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света — видимо, автоматика была заранее отключена, — но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому

ночному броску, наш Экселенц, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхания. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст. Проклятые годы.

Внезапно он остановился и, едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял: мы прибыли на место, и он просто пережидает одышку.

Я огляделся. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. Ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Каммерер…

Экселенц отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь, — он что-то там высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет — какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот

предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг как фокусник потянул из нагрудного кармана длиннющую пеструю шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал:

— Когда он прикоснется к платку — бери его. Если он прежде заметит нас — бери его. Встань здесь.

Я встал по одну сторону двери, Экселенц — по другую.

Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал различные варианты развития событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться. Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного интравизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека…

Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный: где-то в недрах музея обрушилось

что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я глянул на Экселенца. Экселенц тоже прислушивался и тоже недоумевал.

Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно. Чтобы Прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя, вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну-единственную торчащую колючку... Нет, не мог. Прогрессор — не мог. Или здесь, на безопасной Земле, Прогрессор уже успел слегка подразболтаться?.. Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут пять...

Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось целой какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель

и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность.

— Это не он, — сказал я Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лже-Прогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?»

И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себе борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «герцог» двадцать шестого калибра, — он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания.

Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно: Экселенц готов был убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить

или вообще производить впечатление, — только для того, чтобы убивать.

Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес:

— Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно, словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», как говорят хонтийцы.

Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старше Экселенца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длин-

ный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи, неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова: «…Ну, это всем известно… бур-бур-бур… Обыкновенный иллизиум… бур-бур-бур… Хлам и хлам… бур-бур… Может быть, и не на месте… Засунули, запихали, запрятали… бур-бур-бур…»

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его стыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже от-

чаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказывается от такого естественного намерения — взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал: это было бы бессмысленно. Встряхивай, не встряхивай — ничего не изменится, все вернется на круги своя: будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции…

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я! — отозвался Экселенц еще более брюзгливо. — Перестаньте вы трястись!

— Кто? Вы? Какого дьявола! — Луч уперся в Экселенца. — А! Сикорски! Ну, я так и знал!..

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, за-

слоняя лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — завопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!

— Уберите фонарь, а то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядьте, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

— Эти ваши разговоры… — пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький почтенный старичок. По-моему, даже веселый.

4 июня 78-го года

Айзек Бромберг. Битва железных старцев

— Давайте попробуем поговорить спокойно, — предложил Экселенц.

— Попробуем, попробуем! — бодро отозвался Бромберг. — А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?

Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня. «Максим, ты свободен», — и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал:

— Это Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил:

— Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски… Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длин-

ный…

— Сядь, Мак, — сказал Экселенц.

Я сел в знакомое кресло для посетителей.

— Так я жду ваших объяснений, Сикорски, — произнес Бромберг. — Что означает эта засада?

— Я вижу, вы сильно напугались.

— Какой вздор! — мгновенно воспламенился Бромберг. — Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски…

— Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели…

— Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью…

— Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам…

— Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете сюда ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции… Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея — закрыть доступ в музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают. Меня! Члена Ученого совета этого музея! Я звоню

директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочикян, мой в каком-то смысле ученик… Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной… Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О, нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие музея! Позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика! Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь — хочу надеяться! — что это был всего лишь макет… И молите бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего велдинга! А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь

на Тагору…

Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками в грудь.

— Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? — яростно просипел он сквозь перханье.

Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселенца и обомлел.

Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровия и Выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, — он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.

— Я хотел бы знать, Бромберг, — сдавленным голосом произнес он, — зачем вам понадобились детонаторы.

— Ах вы хотели бы это знать! — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселенцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался

в зубах у моего шефа. — А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?

Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселенц пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.

— Вашим стулом извольте интересоваться сами! — прорычал он. — А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней…

— Вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорски! Меня! Обвинять во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей! А? Отвечайте!

— Это не относится к делу, Бромберг!

— Вы взломщик, Сикорски! — объявил Бромберг, простирая к Экселенцу длинный извилистый палец. — Вы докатились до взлома!

— Это вы докатились до взлома, Бромберг! —

взревел Экселенц. — Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано: доступ в музей прекращен! Любой нормальный человек на вашем месте…

— Если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг…

— Его долг — немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг — сообразить, что он живет не в Средние Века. Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля…

— Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски-фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему — открытым! Вы — глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!..

— Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы — не просто старик, Бромберг, вы — жалкий старикашка, впавший в детство!..

— Прекрасно! — сказал Бромберг, вдруг снова

успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселенцем какой-то блестящий предмет. — Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда…

— Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея? — У Экселенца не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно — наступать.

— Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорски? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!

— У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по долгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы, истеричный дурак!

И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемежку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не

первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от Экселенца.

То и дело поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные «безответственные болтуны», «феодальные рыцари плаща и кинжала», «провокаторы-общественники», «плешивые агенты тайной службы», «склеротические демагоги» и «тайные тюремщики идей». Ну, а менее экзотические «старые ослы», «ядовитые сморчки» и «маразматики» всех видов сыпались градом наподобие шрапнели…

Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу.

Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым маль-

чишкой работал в Группе Свободного Поиска. Одну из его книг — «Как это было на самом деле» — я, безусловно, читал: это была история «Массачусетсского кошмара». Книга эта, помнится, мне не понравилась — слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой я в то время нисколько не интересовался.

В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать «крайним левым» известного движения дзиюистов, основанного еще Ламондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений.

Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы

соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции).

Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение (как это, кстати, и случилось с Массачусетсской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая, нечеловеческая цивилизация Земли)?

Прекратить исследование! — приказывает обычно в таких случаях Всемирный совет.

Ни в коем случае! — провозглашают в ответ экстремисты. Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да! В конце концов, «кто не курит и не пьет, тот здо-

ровеньким умрет» (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.

Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре.

По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Всемирный совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать

эти запрещения и преграждать путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.

Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы.

Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм.

Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него

КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. «КОМКОН-2! — ядовито шипел он, подскакивая к Экселенцу и тут же отскакивая назад. — О, ваше иезуитство!.. Взять всем известную аббревиатуру — Комиссия по Контактам с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно! Прославлено! И спрятать за нею вашу зловонную контору! Комиссия по Контролю, видите ли! Команда Консерваторов, а не Комиссия по Контролю! Компания Конспираторов!..»

Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел — как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом — утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если б оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга.

Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля — контроль над контролем.

Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась его ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. «Вы — невежественный мозгляк! — сорванным голосом хрипел он. — Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только

дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы — смакователь дешевых анекдотов!..»

Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселенц уже глубокий старик.

Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял — речь, видимо, шла о делах, давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые.

Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно — вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали

буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц.

Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Всемирный совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Так вот, оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер.

История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше, главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект или объект?» в

данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться…

И так далее.

Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали «детонаторы» — по-видимому, те самые, за которыми явился сюда Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг «дымовой завесы отвратительной секретности», поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев (при чем тут кроманьонцы?), вынужден был держать эти

результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи…

Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы Экселенц выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они, наоборот, угомонились.

4 июня 78-го года

Лев Абалкин у доктора Бромберга

Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отду-

ваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселенц, не глядя на него, полез за пазуху (я испугался — не за пистолетом ли), извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу.

— И не подумаю! — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь.

Экселенц продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом:

— Яд, мудрецом тебе предложенный, возьми, из рук же дурака не принимай бальзама…

Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик.

— Я в этом не нуждаюсь! — объявил он и кинул шарик в рот. — Пока еще не нуждаюсь…

— Айзек, — сказал Экселенц и причмокнул, — что вы будете делать, когда я умру?

— Спляшу качучу, — сказал Бромберг мрачно. — Не говорите глупостей.

— Айзек, — сказал Экселенц, — зачем вам все-таки понадобились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад

или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась…

— А кто это должен был за ними прийти? — подозрительно спросил Бромберг.

— Лев Абалкин, — сказал Экселенц утомленно.

— Кто это такой?

— Вы не знаете Льва Абалкина?

— В первый раз слышу, — сказал Бромберг.

— Верю, — сказал Экселенц.

— Еще бы! — сказал Бромберг высокомерно.

— Вам я верю, — сказал Экселенц. — Но я не верю в совпадения… Слушайте, Айзек, неужели это так трудно — просто, без кривляний, рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами…

— Мне не нравится слово «кривлянья»! — сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора.

— Я беру его назад, — сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

— У меня секретов нет, — объявил он. — Вы

знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто… Вам обязательно нужно имя?

— Нет.

— Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили — несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь… — Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, — довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: «Это что — татуировка?» Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби… «Нет, — ответил он. — Это родимое пятно». Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю» — «тридцать». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

— Напоминает, — сказал Экселенц.

Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то, показавшееся и странным, и несущественным одновременно.

— Вы что — сразу сообразили? — спросил Бромберг с завистью.

— Да, — сказал Экселенц.

— А вот я — не сразу. Молодой человек уже

давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок… Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой — ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей — музей закрыт…

— Мак, — сказал Экселенц, — будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью.

Я повиновался.

Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселенцем. Экселенц подвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселенц попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось.

— Дайте-ка мне, — нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону.

Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами: круглые серые блямбы миллиметров семидесяти в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов

было одиннадцать, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые, да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые.

Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу — чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж» или, если угодно, японский иероглиф «сандзю» — маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа номер один в деле номер ноль-семь. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

— Он?

— Да, да, — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. — Не мешайте. Вы ничего не понимаете…

Он вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом:

«Здесь совсем не в этом дело… Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать… Чушь какая…» И он вытянул наконец детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

— Да! — сказал Бромберг торжествующе. — Точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

— В чем именно? — спросил Экселенц.

— Размер! — сказал Бромберг. — Размер, детали, пропорции. Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок — оно в точности такое же… — Он пристально посмотрел на Экселенца. — Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что — их всех пометили?

— Нет, конечно.

— Значит, у них это было с самого начала? — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.

— Нет. Эти значки появились у них в возрасте десяти-двенадцати лет.

Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло.

— Ну что же, — произнес он. — Так я все это и понял… Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим… И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорски! — вскричал он, размахивая пальцем перед носом Экселенца. — Он сам пришел ко мне, а я сам — понимаете? — сам, вот этой своей старой головой, сообразил, кто передо мною, и теперь он мой! Я не проникал в ваши паршивые тайны! Немножко везенья, немножко сообразительности…

— Хорошо, хорошо, — сказал Экселенц. — Ради бога. Никаких возражений. Он ваш, встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем.

— Н-ну… — с ироническим сомнением протянул Бромберг.

— А впрочем, как вам будет угодно, — сказал

вдруг Экселенц. — Все это сейчас не важно… Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?

Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным.

— Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный, — сказал он. — Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову…

Сегодня, а вернее, вчера утром к нему явился молодой человек лет сорока — сорока пяти и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет

смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель: не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю.

Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. Не исключено, сказал он, что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка (февраль 36-го), поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте…

Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33-го по 39-й годы он обнаружил в общей сложности восемь различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором.

Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок.

— Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков! Уж этого бы я вам не простил, Сикорски!

И еще битых два часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые, слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном — поскорее убраться восвояси…

Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить

с двумя-тремя специалистами по поводу супругов Дымок (безрезультатно), но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то, связанном с этим значком, упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу фразу за фразой, он добрался наконец до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто таков на самом деле Александр Дымок, осенила его.

Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавал совпадения и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в музей…

— Все понятно, — сказал Экселенц мрачно. — Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге…

— А почему бы ему об этом и не знать? — вскинулся Бромберг.

— Действительно, — медленно проговорил Экселенц. — Почему бы и нет?

Тайна личности Льва Абалкина

21 декабря 37-го года отряд Следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых Странникам.

24 декабря интравизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более трех метров.

25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в десять метров. Полусфера эта была облицована янтарином, материалом, весьма характерным для цивилизации Странников, и содержала громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из Следопытов стали называть саркофагом.

26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела КОМКОНа разрешение на обследование саркофага своими силами.

Действуя, по своему обыкновению, изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки (сорок — сорок пять тысяч лет), обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные «развалины» вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки, системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической (сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее).

29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснений, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фоки-

ным, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал — правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося — некоего Марка ван Блеркома (впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк ван Блерком оказался закадычным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга).

30 декабря Марк ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержится тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии.

Необходимо отдать должное двум участникам этой истории: Борису Фокину и члену КОМКОНа Геннадию Комову. Борис Фокин каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир: радиограмма Марка ван

Блеркома была первой и последней открытой радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлекшего внимания.

Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд вообразимых последствий этой проблемы. Прежде всего он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных (спецкодом по сверхсрочному каналу) и, получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей КОМКОНа, которые являлись одновременно членами Всемирного совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август-Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный, вечно сомневающийся Махиро Синода, а также энергичный шестидесятидвухлетний Рудольф Сикорски.

Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром: что теперь делать? Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все

как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. Можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку.

Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание, ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель: шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии.

Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорски сохранили видимое хладнокровие. Горбовский — потому что был разумным оптимистом. Сикорски же — потому что уже тогда был руководителем КОМКОНа-2. Было произнесено множество слов — безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому, чтобы завтра

же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Всемирного совета — специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации.

На протяжении всего совещания Рудольф Сикорски молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности Странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял в конце концов Всемирный совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать решением на самом деле не является. Истинных решений всего два: уничтожить или инициировать. Неважно, когда будет принято одно из этих решений — завтра или через сто лет, — но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг — это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать — это

значит пойти на поводу у Странников, конечные намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предрешаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, — разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну, хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности…»

Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более что все понимали: спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо.

31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало восемнадцать человек, в том числе приглашенный Горбовским Председатель Всемирного совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит — преждевременно. Все согласились далее, что, прежде чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то, по крайней мере, представить себе изначальный замысел Странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез.

Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда Странников. Все известные мне доказательства негуманоидности Странников, заявил он, являются по сути своей косвенными. На самом же деле Странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не противоречит ни одному из доступных фактов. Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему EH 9173.

По мнению Августа-Иоганна Бадера, саркофаг есть — да! — хранилище генофонда, но никаких не Странников, а именно землян. Сорок пять тысяч лет тому назад Странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен хомо сапиенс, пытались таким образом принять меры к восстановлению земного человечества в будущем.

Под тем же лозунгом «не будем плохо думать о Странниках» выступил и престарелый Пак Хин. Он, как и Бадер, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто Странники

выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная «бомба времени», вскрыв которую современные земляне получат возможность воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих далеких предков.

Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дело с попыткой применить принципиально новый метод контакта — создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии. В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории негуманоидных Странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно инициированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки: Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться

на несколько столетий.

Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной.

Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по Странникам, задал вполне резонный вопрос: почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности Странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что Странники вообще способны на благорасположенность к кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты (немногочисленные, правда) свидетельствуют скорее о том, что Странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно — предположить, что гипотетические существа-посредники должны, по замыслу Странников,

выполнять задачи, с нашей точки зрения, скорее негативные. Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники — своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию. Диверсанты — разумеется, слово одиозное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие — Прогрессор — человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники — это своего рода Прогрессоры Странников? Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения Странников на темпы и формы нашего, человеческого прогресса?..

Совещание немедленно раскололось на две фракции — оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о

закономерностях развития Разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться сами Странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю.

Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически — ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением. Это существо живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его… Куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто — и в первую очередь он сам, Рудольф Сикорски, — не имеет права успока-

ивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения.

В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело — Фокин и ван Блерком сообщают, что все тринадцать яйцеклеток совершили первое деление».

Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся Комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался, по сути дела, всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу тринадцати будущих новых граждан планеты Земля.

Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены Комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер.

Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, Учителя, возможные Наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике Странников в частности — на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора, для предупреждения «неловких действий», а главным образом — в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с «подкидышами». Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях Странников…

Рудольф Сикорски в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с

этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей.

Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее.

Мы проделали здесь неплохую работу и более или менее подготовились к возможному развитию событий — насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле Странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков — в этом, собственно, суть всех наших решений. Но! Как руководитель КОМКОНа-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь.

Первое. Все работы, хотя бы мало-мальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Ос-

нование: всем хорошо известный Закон о тайне личности.

Второе. Ни один из «подкидышей» не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание: тот же Закон.

Третье. «Подкидыши» немедленно по появлении на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание: достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить.

Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности, с тем чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание: та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у Странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем (и чем скорее, тем лучше) с проторенной для нас дороги свернуть.

Как и следовало ожидать, «Четыре требования Сикорски» вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было

тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще КОМКОНа-2. Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. С Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух «Требований». Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного сорок пять тысяч лет тому назад неведомыми чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты…

Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махиро

Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о тринадцати еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все «Четыре требования» были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя.

5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом — тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН 9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не Следопыт, что это вне его сферы интересов, что он в общем-то не в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщения этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у

Горбовского тем не менее остался от этой части беседы самый неприятный осадок.

Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся.

7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток (холодный ячменный кофе с синтетическим медом), высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями.

В частности, доктор Ас-Су рассказал, как полтораста земных лет назад при закладке фундамента Третьей Большой Машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим

двести три личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой Генетической Революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки…

— Поразительно, — пробормотал Сикорски. — Неужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?

— Разумеется, нет! — ответил доктор Ас-Су. — Безусловно, это была затея Странников.

— Но зачем?

— Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить.

— И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагорян?

— Хм… Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым… Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?

— Могу, — сказал Сикорски.

На другой день, 8 января 38-го года, Высокий Посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с

состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорянина. А еще через месяц все без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на двадцать пять лет.

Тайна личности Льва Абалкина (продолжение)

Они все родились в один день — 6 октября 38-го года, — пять девочек и восемь мальчиков, крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Всемирного совета и консультанты Комиссии по Тринадцати, обмыли и спеленали их и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в тринадцати яслях, разбросанных по всем шести материкам, заботливые няни уже хлопотали над тринадцатью сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были

подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Всемирного совета введены в БВИ.

Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных двенадцати его «единоутробных» сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных, земных сверстников.

В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты.

Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Ядвига Михайловна Леканова — один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда шестилетний Лева Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Ядвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками

школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу.

Лева Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Так же благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников, по преимуществу — славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября сорок седьмого года.

16 ноября, проводя регулярный осмотр, Ядвига Михайловна обнаружила у Левы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невеликая редкость, и Ядвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно

трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки — желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лева Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя.

Поколебавшись, Ядвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Ядвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. Без изменений, ответила несколько удивленная Ядвига Михайловна. Если вас не затруднит, попросил доктор Сикорски, как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне.

Лев Абалкин был первым из «подкидышей», у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми «подкидышей»

при совершенно сходных обстоятельствах: синяк с припухлостью вначале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю — желто-коричневый значок. К концу 48-го года «клеймо Странников» носили уже все тринадцать. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор».

Кто первым ввел это понятие, определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 39-м году, через год после рождения «подкидышей», ксенотехники, занимавшиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий тринадцать серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании «Материалы по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего

может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный Спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых десять лет.

В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу «подкидышей» (назовем его, например, Иванов) вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице шестого тома «Материалов по саркофагу». Экселенц глянул и обомлел. Перед ним была фотография «элемента жизнеобеспечения 15/156А»: тринадцать серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. Тринадцать замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он уже даже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по тринадцати фотографиям тринадцати сгибов детских локтей. По значку на локоть. По значку на диск. По диску на локоть.

Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать. Что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот «элемент 15/156А» и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему

ему страшно.

Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами: тринадцать загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся по-над речками и лазают по деревьям в разных концах Земного шара, а здесь, в двух шагах, тринадцать детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа.

Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось «подкидышей». Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из музея и отправить за тридевять земель, на край обитаемой Вселенной, а при необходимости — и еще дальше.

Рудольф Сикорски позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Всемирного совета — к

нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось (Сикорски прежде и представления об этом не имел), что экспонаты из музея, причем не только из Музея внеземных культур, но и из любого музея на Земле, не выдаются — ни частным лицам, ни Всемирному совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия: лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее, и тому подобное.

Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов, хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся, по меньшей мере, «соответствующие полномочия». И в конце концов, только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся

детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни.

Детонаторами занялись вплотную. Соответственно подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство.

С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты: в отличие от многих предметов материальной культуры Странников, детонатор номер 12 (значок «М готическое»), будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната «Темпладо» — двадцать семь девчонок и мальчишек во главе с Учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы — кроме Эдны Ласко, личное дело № 12, значок «М готическое».

Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановле-

ны, и через Всемирный совет удалось провести их как запрещенные.

И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорски, по местному прозвищу «Странник», резидентствовал на Саракше.

Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав Комиссии по Тринадцати, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из «подкидышей». Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа — номер 11, значок «Эльбрус». После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком.

Корней Яшмаа кончал тогда школу Прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием — видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая

в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, — это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, Комиссия могла быть довольна: по крайней мере один из «подкидышей» стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.

Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорски поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности «подкидышей» прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении «подкидышей», когда и если программа заработает, кроме этой подсознательной программы были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и

странные поступки. Но в конце концов, для контроля было бы даже полезно иметь одного (но не больше!) из «подкидышей», располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе Странникам не стоило и огород городить. Но, без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих.

Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя три года (Рудольф Сикорски все еще сидел на Саракше) повторили эксперимент с Томасом Нильсоном (номер 02, значок «Косая звезда»), смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, нимало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций.

Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным

ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные мотивы. А на сто двадцать восьмой день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.

Для Комиссии вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из Комиссии, бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на сто тридцать второй день сотрудник КОМКОНа-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, выстланном шевелящимися волокнами псевдоэпителия, даже пыли.

Теперь существование некоей, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из «подкидышей» и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов Комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.

4 июня 78-го года

Дискуссия ситуации

Все это и еще многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет.

Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся и, не глядя на меня, пошел заваривать кофе.

— Можешь спрашивать, — проворчал он.

К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно — огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что, как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой Земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на

нашу повседневную жизнь не оказывают, — все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени.

Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит — должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит — увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, — увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него — за то, что он все-таки не удержал.

— У тебя нет вопросов? — осведомился Экселенц.

Я спохватился:

— Значит, вы полагаете, что программа заработала и он убил Тристана?

— Давай рассуждать логически. — Экселенц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. — Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности Прогрессора, а на самом деле — для того, чтобы убедиться: Абалкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая, самое позднее — тридцать первого, я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю. Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... — Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. — По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат

Странников. — Он снова помолчал. — Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более — Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили…

— Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?

— Мне больше нечего предполагать.

— Но ведь он понятия не имеет о детонаторах… Или это тоже Тристан?

— Тристан ничего не знал. И Абалкин ничего не знает. Знает программа!

— А как ведет себя Яшмаа? И остальные?

— Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым.

Это надо было понимать так, что в отношении остальных Экселенц уже принял необходимые меры, и слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Пока. Я сказал:

— Вы только поймите меня правильно, Экселенц. Не подумайте, что я пытаюсь смягчить, сгладить, приуменьшить. Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался… Я все понимаю: гибель Тристана — бегство — звонок по вашему спецканалу — скрывается

— выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы… Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое! Встречается с Глумовой — и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с Учителем — и только обида, будто бы Учитель испортил ему жизнь… Разговор со мной — обида, будто я украл у него приоритет… Кстати, зачем ему было вообще встречаться с Учителем? Со мной еще туда-сюда: скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает… А с Учителем зачем? Теперь Щекн — дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет!

— Лезет, Мак. Все лезет. Программа — программой, а сознание — сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него нечеловеческого, а сознание тщится трансформировать это требование во что-то хоть мало-мальски осмысленное… Он мечется, он совершает странные и нелепые поступки. Чего-то вроде этого я и ожидал… Для того и нужна была тайна личности: мы имеем теперь хоть какой-то запас времени… А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек,

и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было…

Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел Учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался — да. Он совершал странные поступки — да, но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен…

Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция — это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со Странниками…

— Можно еще кофе? — попросил я.

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

— Я вижу, ты сомневаешься, — сказал он, стоя ко мне спиной. — Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я — старый рационалист, Мак, и я навидался всякого, я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составлен-

ные кем-то там сорок тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр… Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

— Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, — продолжал он, — и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан — не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому… Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши… Для ученых все ясно: не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого — это, в конечном счете, его личное дело.

А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Всемирный совет и все школяры в придачу... — Он с раздражением отодвинул от себя чашку. — Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

— Экселенц, — сказал я, — ну что вы, в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Ну, возьмите вы операцию «Мертвый мир»... Ведь они там как-никак население целой планеты спасли! Несколько миллиардов человек!

— Утешаешь... — сказал Экселенц, мрачно усмехаясь. — А ведь они там не население спасали. Они планету спасали от населения! И очень

успешно… А куда делось население — этого нам знать не дано…

— Почему — планету? — спросил я, растерявшись.

— А почему — население?

— Ну ладно, — сказал я. — Дело даже не в этом. Пусть вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами… Ну что он нам может сделать? Ведь он один.

— Мальчик, — сказал Экселенц почти нежно, — ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я. И мы ничего не придумали, вот что хуже всего. И никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем. Единственная надежда — что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что, старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый

саркофаг сразу же, в первый же день… Вот тагоряне уничтожили — и посмотри теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись… Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века назад… Но ведь, с другой-то стороны, сами себя они в тупике не считают! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки зрения они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению… Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

— Мы все устали, Мак, — проговорил он. — Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике»… Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным приле-

жанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда… Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо… А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак, — хорек в курятнике?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами:

— Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке… Ну, что ты вытаращился на меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас!

А вам с этим тоже ведь не справиться! Потому что вы…

Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

4 июня 78-го года

Лев Абалкин в натуре

— Лева! — произнес Экселенц изумленно-растроганным голосом. — Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий Прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное, — мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия.

— Вы — Рудольф Сикорски, начальник КОМКОНа-2, — произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

— Да, — отозвался Экселенц, радушно улыбаясь. — А почему так официально? Садитесь, Лева…

— Я буду говорить стоя, — сказал Лев Абалкин.

— Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

— Нет, не правда, — сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. — У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц был потрясен.

— Как это — не хотите? — вопросил он. — Вы, дорогой мой, на службе, вы обязаны отчетом… Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном… Как это — не хотите?

— Я — один из «тринадцати»?

— Этот Бромберг… — проговорил Экселенц с досадой. — Да, Лева. К сожалению, вы — один из «тринадцати».

— Мне запрещено находиться на Земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?

— Да, Лева. Это так.

Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства.

— Так вот, я пришел сюда сказать, — произнес Абалкин все тем же тихим бесцветным голо-

сом, — что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я — на Земле и более не намерен Землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю и избавляться от него буду беспощадно.

— Как от Тристана? — небрежно спросил Экселенц.

Абалкин, казалось, не слыхал этой реплики.

— Я вас предупредил, — сказал он. — Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

— Хорошо. Не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

— Теперь я сам буду выбирать себе работу.

— Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

— Здесь нет материала для размышлений, — сказал он. — Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником…

— А вы бы через пару месяцев покончили с

собой? Страшно ведь, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит…

— Чепуха. Это все бредни ваших психологов. Я — землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле. Я мотался как сумасшедший — искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами… Вы боялись свести меня с ума? Ну, так это вам почти удалось!

— А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

— А что — это неправда? — осведомился Абалкин. — Может быть, мне разрешено жить на Земле?

— Теперь — не знаю… Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог… Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаев, — он сделался похож на пандейского дервиша.

— Ну, хорошо, — сказал, подождав, Экселенц.

Он демонстративно разглядывал свои ногти. — Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но — пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему он не рассказал вам, что вы — «подкидыш»? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины — и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали…

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло — рот полуоткрылся, и широко раскрылись, как бы в удивлении, глаза, и я впервые услыхал его дыхание.

— Я не хочу об этом говорить… — громко и хрипло произнес он.

— Очень жаль, — сказал Экселенц. — Нам это очень важно.

— А мне важно только одно, — сказал Абалкин. — Чтобы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселенц заговорил совсем другим тоном:

— Лева. Разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение…

какие-нибудь странные мысли… просто больным себя почувствуете… Умоляю, сообщите об этом. Ну, пусть не мне. Горбовскому. Комову. Бромбергу, в конце концов…

Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

— Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то не виновата ни в чем!..

— Сообщу, сообщу, — сказал Абалкин через плечо. — Лично вам.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса:

— За ним. Ни в коем случае не упускать. Связь через браслет. Я буду в музее.

4 июня 78-го года

Завершение операции

Выйдя из здания КОМКОНа-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину улич-

ного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин все так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова.

По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут двадцать сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души.

Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселенц. Я не понимал, что он затеял.

Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было вначале, три дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать — убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ «брать его, как только он прикоснется к платку». И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселенцу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного: Экселенц убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. (Работает ли программа на самом деле — на этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего мне надо было понять замысел Экселенца.)

Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами. И поставить точку по крайней мере на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в

музей. Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. За чем же еще? (Казалось бы, чего проще — сунуть этот янтарный футляр в списанный «призрак» и загнать в подпространство до скончания времен… К сожалению, делать этого, конечно, нельзя: это был бы необратимый поступок.)

Абалкин является в музей (или прорывается с боем — ведь там его ждет Гриша Серосовин)… В общем, он является в музей и снова видит там Экселенца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор…

Экселенц его убьет, подумал я. Господи помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет. Ведь это же просто, как репа. Экселенц для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором… Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой

крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя…

И я сказал себе: ну нет, этого не будет.

Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину.

Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом.

— Лева, — сказал я, — уезжайте отсюда. Сейчас же.

— Кажется, я просил оставить меня в покое, — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом.

— Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас — автомат Странников.

— А вы для меня — банда взбесившихся от страха идиотов.

— Не спорю, — сказал я. — Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лева, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет.

— А зачем? — сказал он. — Чего это ради я дол-

жен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унизительно.

— Лева, — сказал я, — если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить?

Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край Вселенной, но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение.

— Бесполезно, — сказал он. — Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся.

— Лева, — сказал я, — вас убьют.

— Ну, это не так просто сделать, — небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи.

Я пошел рядом с ним. Я все время говорил. Нес какую-то чушь, что-де это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо-де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что-де стариков тоже надо бы понять — они сорок лет живут как на иголках… Он отмалчивался или

отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся — мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к Площади Звезды.

Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу… Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове два-три дежурных «призрака». Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой Ружене, в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары — тайна личности Льва Абалкина… Так. Вон у обочины подходящий глайдер. Свободный. Как раз то, что нужно…

Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, а я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для

особой тревоги никаких нет — может же стать человеку дурно на улице…

Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный «поворот вниз», проведенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит.

— Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке…

— Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно…

— Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом…

Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на два сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс…

Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу

устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач! В чем дело?..»

И откуда только у меня ноги взялись! Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях:

— Женщине плохо, помогите ей…

Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно-протестующий вопль: «Но позвольте же!..» — а в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем Площадь Звезды.

Все было как в повторном сне. Как шесть часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю.

Уже опоздал.

Уже.

Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из «герцога». Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал.

Треснули еще два выстрела, один за другим… «Лева. Вас убьют». — «Это не так просто сделать…» Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно — Гриша и я.

Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице.

Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека Экселенца были покрыты крупными каплями пота.

Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью.

И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой

руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора. Со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «сандзю».

Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее.) Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

— Стояли звери около двери…

— Лева, — позвал я.

— Стояли звери около двери, — повторил он настойчиво. — Стояли звери…

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.